

Сергей ПЫЛЕВ

г. Воронеж

# Пёс с золотыми зубами

(документальная повесть)

День за днём я лежал на нарах. Настроение поначалу было хорошее. Нога заживала. Люди в камере часто менялись, и скучать не приходилось.

Однажды рядом со мной оказался вор-рецидивист.

– Поговорить хочется... – нагнулся он ко мне. – Я отсюда уже не выйду. Шлёпнут, как пить дать. И не потому, что трижды лауреат по срокам. За отца... Он у меня до расстрела в тридцать седьмом был известный военачальник... Так вот хочу перед смертью кое-чему научить тебя. Иначе освоодишься с биркой на левой ноге.

Таких блатарей, как я, по нашему закону вам, работягам, полагается во всём обрабатывать. Каждый вор-законник зачислен в какую-то бригаду, но никогда ничего не делает. Играем в карты, по баракам шастаем и всё, что приглянется, выгребаем. А по отчётным бумажкам числимся в передовиках! Бригады в таблице ставят нам самые высокие проценты выработки. А почему? Боятся за свою жизнь.

Правда, мы им тоже кое в чём помогаем. Если какой нормировщик или мастер не подписывает бригадиру табель, то мы этого фраера сомнём в бараний рог и смешаем с грязью. Они в наших руках!

Старосты и даже начальники лагерей это хорошо знают. Однако они тоже в некотором смысле идут у нас на поводу. Начальник, если он опытный, отлично понимает: одно наше слово бригадирам – и он уже никакой план не даст. А то и вообще запросто можем подбить работяг на забастовку. В столовой нам готовят отдельно, что повкусней. Конечно, законников в лагере немного. Обычно нас трое-пятеро на сотню работяг. Иначе им нас не обработать. Мы сплочённая сила, и редко кто перед ней устоит. Если нам грозит какая-то опасность, – узнаём об этом раньше, чем положение становится безвыходным. Наши шестёрки есть в каждом бараке и в каждой бригаде. Они немедленно ставят нас в известность. Эти осведомители получше, чем у чекистов или лагерного начальства. Дела, которые посерьёзней, мы решаем на сходе. Разбор устраиваем. Беспредел с работягами стараемся не допускать. Если эти люди вдруг откажутся работать, мы же окажемся в накладе. От них наши денежки. А Сталин как поступает? Своих соратников – к ногтю! Кто революцию кровью завоёвывал, теперь по лагерям гниют. Такое

(Окончание. Начало в №11-12, 2016 г.)

отношение к работягам в нашей среде могут позволить только посученные воры. Вот и выходит, что Иоська тоже из их гнусной породы...

Сосед закрыл глаза ладонью:

*Воровать завяжу я на время,  
Чтоб с тобой, дорогая, пожить,  
Любоваться твоей красотой  
И колымскую жизнь позабыть.*

– Скорей бы «весёлая минута»! – мечтательно сказал он. – Горячей баланды попить... Между прочим, закурить сейчас тоже бы неплохо.

Табак у меня имелся. И спички. Какая-никакая бумага нашлась. Я свернул ему толстую козью ножку.

– С таким, как ты, я бы и в побег пошёл! – лихорадочно затынулся сосед.

В это время послышался запах «весёлой минутки» – приехал долгожданный обед.

Дежурный надзиратель с грохотом открыл камеру и принялся вызывать арестантов по списку. Раздатчик плескал в жестяные миски пустой рыбный суп, торопил:

– Не задерживайте, ребята! Мисок у меня всего десять.

И ребята не задерживали. Мы быстро вытягивали баланду и подавали посуду обратно. Для следующих арестантов их, конечно же, не мыли. Да нам и в голову не приходило этого требовать.

«Весёлая минутка» прошла быстро. Теперь оставалось тоскливо ждать её до завтра.

– Только брюхо растревожили... – вздохнул кто-то. – Теперь есть ещё больше хочется!

Мой сосед лёг на нары лицом вниз:

– Извини, что я сейчас с тобой на блатном наречи изъяснялся, – вдруг глухо сказал он. – На самом деле я из хорошей семьи... В университете учился, хотел полярником стать. Вот и стал... Шиворот-навыворот. А вся беда в том, что нарком Ежов отлично знал моего отца. Ценил его заслуги перед революцией. Они часто вместе отдыхать на юг ездили. Но после ареста Ежова и отца я в два счёта слетел с третьего курса. Сестру из школы выгнали. Мать, прекрасного врача, практика, уволили и сослали. Когда она умерла, сестрёнка стала проституткой, а я – вором...

Дней через несколько наша камера вдруг громозвучно открылась в четыре часа утра.

– Данильченко... Срочно на выход... – судорожно зевнув, велел ночной надзиратель.

Я ждал чего угодно, но только не этого.

– Расшлёпают электрика... – проснувшись, услышал за спиной.

На всякий случай попрощался с сокамерниками. В коридоре стояло пятеро солдат в овчинных белых полушубках и старшина. Ещё одного арестанта, Пугачёва, вывели из соседней камеры.

Старшина подозвал к себе солдат и что-то тихо сказал им.

– Так точно! Ясно! – чётко ответили они.

А что им было ясно?..

Мне стало по-настоящему тревожно. Действительно, куда вызывать нас в такую пору? Для чего?.. Слово рухнуло что-то внутри...

Неужели действительно расстреляют? Уж очень похоже! Сердце ёкнуло: кабы на этап – должны были бы хлеб заранее выдать.

«Ах ты, добрый Кислицин!.. – тупо подумал я. – Всё, конец... Доболтался, левобухаринец правотроцкистский!»

Конвоиры повели меня и Пугачёва по дороге в сторону леса.

Нас заставили взяться под руки и прибавить шаг.

Порошил иней. Какая-то крупная птица шмыгнула в сумеречье.

«Чует, что скоро будет чем поживиться...» – машинально отметил я про себя.

В это время Пугачёв осмелился подать голос:

– Куда ведёте?..

– Куда надо! – был ответ. – Не разговаривать!

Прошли километра два. Лес кончился.

– Сворачивайте налево! – вдруг скомандовал один из конвоиров.

Налево дороги не было. Одни сугробы, точно могильные холмики. И тут мы окончательно поняли, что нас расстреляют. Иначе зачем сворачивать с дороги в сугробы? Конечно, чтобы не возиться с нашими трупами. Амба, деревянного бушлата нам не видать. Загнёмся даже без ярлыка с номером дела на левой ноге. Закидают снегом – и все дела.

Так мы лихорадочно думали в тот момент, и это были не самые лучшие мысли в нашей жизни.

– Стреляйте, гады!!! – вдруг яростно обернулся к ним лицом Пугачёв.

Старший конвоя усмехнулся:

– Очумел, дядя? Никто вас кончать не собирается. Подводы за нами идут! Чуть сверните с дороги... Пропустить их надо.

Сквозь густой морозный туман я увидел позади переднюю лошадь, запряжённую в сани, и облегчённо вздохнул.

Мы посторонились.

Подводы проехали, жёстко скобля железными полозьями сухой колымский снег.

– Что, герои, поджилки дрожат?! – расхохотались конвоиры.

Часа за три мы дошли до автотрассы, и стар-

ший провёл прикладом винтовки полтораметровый круг на обочине.

– Это ваша зона, – сказал он. – Заходите сюда и ни шагу за черту! Конвой применит оружие без предупреждения.

– Знаем... – уныло сказали мы в один голос.

Полчаса я и Пугачёв жались друг к другу на пронизывающем ветру, пока конвой не остановил попутку.

Мы забрались в кузов и поехали в сторону Магадана.

Так я оказался в тюрьме, которую называли «Дом Васькова». Здесь во дворе у стены на меня повесили номер и сфотографировали.

А потом – в камеру. Надо сказать, что такую я увидел впервые: камера оказалась тёплой и по-своему уютной. По крайней мере, на подоконнике открыто лежали хлеб, рыба и папиросы...

Я поздоровался и, как полагается, рассказал о себе.

– Есть хочешь? – спросили меня.

– Очень хочу! – не постеснялся я.

И тут произошло невиданное: мне надавали хлеба, селёдки, сахара и давно забытого мной сливочного масла. Усадили к столу пить чай. Я как в родной дом попал.

В общем, ел я много и всё никак не мог остановиться. Не переставая, с усердием уминал селёдку, блаженно прихлёбывал кипяток, смаковал белый хлеб с коровьим маслом.

На ужин был гречневый суп. Я набросился на него и только тогда заметил, что в моих руках откуда-то взялось ещё и кольцо краковской колбасы с матовыми зёрнами аппетитного жирка. Я расправился с колбасой в два счёта, даже шкурку не снял.

Утром соседи выкупили в ларьке ещё два ящика с продуктами и снова угостили меня. На этот раз я разжился конфетами, печеньем и папиросами «Пушка». А когда завёл разговор, что не могу сейчас расплатиться, надо мной только посмеялись.

Оказывается, продукты на всю камеру покупали двое моих соседей.

– У нас по двести тысяч на лицевом счету, – сказал один из них. – Так что же им, пропадать? Всё равно нас расстреляют. Пользуйтесь от души!

Я невольно задумался: казалось бы, государство у нас одно и условия, значит, тоже должны быть везде одинаковы. Но нет, сколько я прошёл тюрем и лагерей – везде разные порядки, не говоря о питании и отношении к арестантам. Здесь же, в «Доме Васькова», даже бумагу для уборной давали.

На третий день у меня отекли лицо, руки и ноги.

Я записался на приём к тюремному врачу. Он внимательно осмотрел меня и пригласил студентов-медиков, которые проходили здесь практику:

– Смотрите, будущие гиппократы. У этого человека, который когда-то был настоящим русским богатырём, теперь белковые отёки на почве истощения...

И меня на сорок дней положили в тюремную больницу.

После всех мытарств она показалась землёй обетованной. Чисто, тихо, на окнах хоть и решётки, однако с внутренней стороны они зашторены белоснежными накрахмаленными занавесками. На тумбочках лежали книги и старые журналы.

В палате были только политические. Соседи у меня оказались видные: бывший начальник золотодобычи Рапопорт, главный инженер по строительству шоссежных дорог Жуков. В общем, тузы Магаданско-Колымского края, которые пошли под 58-ю статью вслед за начальником Дальстроя Берзиным.

Был в палате и некто Малышев. Он развлекался тем, что играл с соседями в шахматы по памяти, накрывшись одеялом, чтобы не видеть фигур. Как-то Малышев сказал, что этой ловкости его обучил в своё время не кто иной, как наш великомихайловский фельдшер Лев Максимович Руженцев. Кстати, я в своё время тоже научился у него более-менее сносно переставлять фигуры. И, кажется, делал это без особо серьёзных промахов. По крайней мере, меня Малышев ни разу не обыграл.

В паузах между глубокомысленными передвижениями фигур я попытался ненароком вызнать у соседа, не знает ли тот, где сейчас Лев Максимович? Малышев как-то настороженно, странно замкнулся и до сна со мной словом не перемолвился. Так и не разгадал я тайну Руженцева: почему за ним посылали целый отряд красноармейцев? Правда, однажды мне намекнули, будто он на спиритическом сеансе, общаясь с духом Александра Второго-Освободителя, услышал от него, что Ленин вскоре умрёт в маразме.

В общем, игра в шахматы служила у нас для очищения голов, а для желудка стал я между делом брать у Рапопорта уроки еврейской кулинарии. Мы как-то вместе с ним сделали настоящий форшмак. В палату, как и в камеру, регулярно приносили из лавочки разные разности. Так что у нас было в достатке всё необходимое для этого блюда: селёдка, лук, сливочное масло. Арестантский форшмак получился что надо. Все живо подсели к столу.

– Публику прошу не волноваться! Смертельный номер! Алле гоп! – величественно объявил я и снял салфетку с уже другого, лично мной исполненного блюда. Это была килограммовая и почти метровой длины толстоспинная жупановская селёдина (ещё она называется «кобыла») из камчатских краёв, которую я, как Маринка, напластал тонкими бескост-

ными кусками, укрыл хрусткими кольцами лука и обрызгал всё это с ладони уксусом. Его же предварительно размешал до пенки вместе с тёмным ароматным подсолнечным маслом. В последний след к этой смеси присоединился лимонный сок, в который я щепотками стряхнул чуть имбиря, сахара и от души – чёрного перца.

Арестанты зажали рты, чтобы не взвыть от счастья. Только глазами азартно пыхали на меня.

– И такое чудо уничтожить на сухую?! – горько засонал кто-то.

Тотчас невесть откуда наш стол возглавила банка медицинский спирт.

...На двадцатый день я вошёл в норму и наконец перестал ощущать постоянный животный голод.

– Взгляните, товарищи! – однажды рассмеялся Рапопорт, отчески оглядывая меня. – Алёша стал у нас ровно купеческая дочь!

Я украдкой посмотрел на себя в зеркало: краснощёкий и упитанный, как в те времена, когда с алой лентой через плечо я среди первых подлетел на лыжах к товарищу Варейкису. Вспомнилось его радостное рукопожатие. Как торжественно и в то же время весело назвал он нас «гонцами коммунизма»!

И с этой минуты я забеспокоился, чуя своей арестантской селезёнкой: всякой благодати приходит конец! Но как мне исхитриться прожить здесь ещё пару месяцев? Хотя бы пока спадут самые страшные морозы...

Дней за десять перед выпиской я ночью замастырил себе, как говорят урки, симптомы болезни: расковырял десны и измазал подушку кровью.

Дежурная сестра увидела пятна на наволочке и ужаснулась. Я к тому же для большего эффекта громко стонал. Она побежала за кислородной подушкой, сделала мне какой-то укол. Забеспокоились и больные. Я нагло сказал, что у меня горлом пошла кровь.

Рапопорт до утра просидел возле моей кровати.

Мне было стыдно...

Лечащему врачу я пожаловался, что в ноябре получил от нарядчика поленом по спине. Кстати, такой случай был на самом деле, но я про него постепенно забыл. Теперь этот факт как нельзя лучше пригодился.

Когда стали лечить, я поначалу пожалел о своей шальной затее: после внутривенных уколов в ногах точно пламя загоралось. Правда, ненадолго. К тому же уколы мне назначили через два дня на третий. Я скоро притерпелся.

В общем, через месяц на вопрос врачей, как здоровье, я бодро отвечал: «Хорошо!» Мне разрешили ходить по палате, позже стали выпускать на прогулку. Глядя на меня, доктора были до-

вольны, а я приуныл. Ведь ещё только начало февраля. Зима не ослабла. Морозы давят.

В общем, хожу по каменно-твёрдому снегу с больными во дворе и всё время думаю, как бы повторить ту ночную историю, но так, чтобы она выглядела правдоподобно?..

И вдруг сообразил: да снег мне и поможет!

Я снова насосал крови из дёсен, сделал вид, что закашлялся, и плюнул под ноги. Впечатляющее алое пятно размазанно проступило на снегу. Ко мне подошли больные и сочувственно притихли. Я попросил их ничего не говорить врачу, а то, мол, совсем залечат.

Говоря так, я был уверен, что они обязательно всё расскажут.

Действительно, не успел я вернуться в палату, как появилась моя врач. И с обидой ко мне:

– Я вас плохо лечу?

– Спасибо, доктор!

– Больные говорят на этот счёт совсем другое! Сейчас же ложитесь в постель. И больше не вставать!

На следующий день на меня надели новенький тулуп и повезли в городскую поликлинику на рентген. Вот тут-то мне по-настоящему помог тот забытый удар поленом. Меня долго смотрели и наконец что-то на самом деле обнаружили.

Так я благополучно симулировал до середины марта.

Однажды к нам в палату на несколько дней положили Васю Рябых. Он с восторгом нашептал мне, что беглые уголовники похитили дочь начальника Дальстроя Никишева и заставили её написать отцу письмо, чтобы он прекратил беспредел администрации в штрафном лагере. И будто бы дочь посейчас в землянке где-то в тайге, и если дело не поправится, её зарежут.

– Чему радуешься, Рябой?.. – я дал ему подзатыльник и отвернулся. – Девчонка тут при чём? Эх вы, правильные...

– Ты как, сучий потрох, о нас судишь?.. – тихо, но внятно проговорил Вася и, вёртко откинувшись на спину, прогундосил под нос:

*Запомнился Ванино-порт*

*И вид парохода угрюмый.*

*В холодные, грязные трюмы...*

*По трапу нас гнали на борт...*

Я понял по его интонации: перо мне обеспечено. Это лишь дело времени.

Через пару дней Кислицин вспомнил про меня: потребовал на допрос, да ещё среди ночи.

Я не узнал его. Обычно внимательный и уравно-

вешенный, он был взбешён. Для разговора со мной Кислицин пригласил ещё троих следователей. По их напряжённым лицам я уныло смекнул: меня будут бить.

– По тебе черви плачут! – с ходу закричал Кислицин. – Бухаринец вшивый! В Париж пробирался! За инструкциями! А в правотроцкистскую партию тебя сам Варейкис принимал? Да ты в политике разбираешься как свинья в апельсинах... И кто же умудрился припаять тебе пятьдесят восьмую?

Кислицин рассказал следователям, как я пытался одурочить его и как он чуть было не попался на мою удочку. Похохотав от души, они единодушно решили продлить мой срок в штрафном лагере. Лучше бы эти люди отвели душу как следует и избили меня до полусмерти. Или даже убили.

В это время ввели Васю Рябых. Нам устроили очную ставку.

– Знаете друг друга? – заорал Кислицин.

– Знаем... – согласились мы.

– Личные счёты между вами есть?

– Нет... – подмигнул мне Вася.

– Тогда, Рябых, расскажи всё, что ты знаешь про историю с лозунгом!

– Говори правду! – не удержался я.

– Молчать! – замахнулся на меня Кислицин.

И Рябых с наглой улыбочкой рассказал, зачем я написал лозунг и зачем он по моей просьбе ходил к куму, заранее предупредив на этот счёт паханов.

Нас заставили подписать двести шестую статью об окончании следствия.

– Сгною обоих!.. – поморщился Кислицин.

В апреле состоялся закрытый суд. Присутствовали два конвоира, два заседателя, судья, прокурор и государственный защитник. Когда ему предоставили слово, он свернул свои бумаги и торжественно объявил:

– Граждане судьи! Я во всём поддерживаю выводы органов! Сталинские органы не ошибаются!

Вася не выдержал и отпустил ему вслед такие слова, после которых у всех покраснели уши. Я такого мастерства раньше за ним не знал. Вдохновение прорвалось в человеке. Хорошо выразился «водопроводчик» Вася.

Через пять минут нам зачитали приговор. Я ждал всего, даже расстрела.

Мы получили по семь лет с отбыванием срока в местах заключения общего режима.

Это было спасение!..

Отвёл-таки Кислицин меня от штрафного лагеря. Спасибо тебе, если ты жив. Спасибо в любом случае...

Итак, лозунг про рабство в СССР расценили как контрреволюционный саботаж: статья за мной

осталась та же самая, пятьдесят восьмая, но часть уже почему-то была четырнадцатая, более снисходительная.

Суд длился двадцать минут.

В конце апреля нас отвезли на прииск «Хета» в трёхстах километрах севернее Магадана. Теперь жил я в большой тридцатиметровой палатке. Она стояла отдельно и была огорожена колючей проволокой. Как видно, администрация лагеря помнила про красную полосу беглеца в моём формуляре, которую я уже неоднократно успел подтвердить конкретными делами.

В палатке не было полов, зато стояли две печки. Соседи у меня оказались удивительные – это были верующие, человек двадцать, и верующие как-то по-особенному. Их здесь все звали «крестиками».

Если спросить у кого из них имя или фамилию, они всегда коротко отвечали: «Бог знает...» Эти люди еду из рук вертухаев не брали, а только от арестантов. Перекрестят хлеб и уже только тогда начинают есть. Конечно, такие люди здесь не выживали.

Вскоре я узнал, что после моего ареста жизнь на штрафной зоне несколько облегчилась: там заменили начальника и коменданта.

Питание наконец улучшилось, всем выдали валенки, бушлаты и матрацы. Многие связывали эти изменения с тем, что я будто бы подготавливал восстание. Это было поставлено «правильными» мне в заслугу. Вася Рябых подтвердил, что воры-законники порешили теперь повсюду защищать меня от обидчиков, а он лично зла на меня уже не держит. А вот затея с похищением дочери Никишева провалилась. Её схрон успели вовремя найти, беглых штыками положили на месте.

С теплом начался на «Хете» промывочный сезон. Нас, беглецов, собрали в одну бригаду и водили на работу под усиленным конвоем. Кайлом и лопатой долбили мы грунт, возили его тачками в промывочные бутары.

Кормили на «Хете» пусто, а норму требовали уже известные мне шесть кубов. Однако после больницы и рапопортовских форшмаков я первое время катал из забоя одну тачку за другой. В иной день замерщик своей рулеткой намеривал за мной до девяти кубов. В лагере поначалу часто вывешивали «молнии» о таких моих трудовых рекордах. Не раз перепал мне и «стахановский обед»: вели в отдельную чистую комнату, наливали семьдесят пять граммов спирта, давали белый хлеб и немного мяса.

Только к июню и я начал сдавать. Семь кубов за день, шесть, четыре, три... В конце концов насту-

пил день, когда меня повели ночевать в карцер натошак: я не справился с нормой.

Однажды на прииск приехал сам Никишев и зашёл на наш объект.

– Как работается, ребята?! – отечески крикнул он.

– Ударно, гражданин начальник... – холодно ответили арестанты.

– Молодцы! Нажмите ещё на свою мускулатуру!

– На такую? – отозвался Вася Рябых и, раздевшись, показал Никишеву тонкие верёвочные мышцы на руках. – Ты своих собак в сто раз лучше кормишь, чем нас!

Начальник Дальстроя не ожидал такого поворота.

– Это что?! Это что за демонстрация?! – Он выхватил наган.

– Не стреляйте! Пойдите! – закричали мы в один голос. – Голодаем! Одна овсянка! Тачки после неё чугунные!

Никишев нехотя сунул наган в кобуру.

– Бригадир! – громко сказал он, уходя. – Объясните своим людям, что через неделю питание улучшим. Будет масло, молоко, консервы.

Однако ничто не изменилось ни через неделю, ни через месяц.

Однажды я сел покурить возле забоя и, пригревшись на солнце, задумался: пора уходить на волю, пока ещё есть хоть какие-то силы! Только опять незадача: где взять толкового напарника?

Мимо вёз тачку Вася Рябых. Я пригляделся: кажется, он ещё не совсем сдал.

Я решил довериться ему.

Он докатил тачку до бутары и вдруг тихо сказал мне:

– Война, Алёшка!.. С немцами!

Я удивился, не поверил.

– Война... – разнеслось повсюду.

– Война!!! – передало лагерное радио.

И я сказал себе: «Побег отставить!»

Теперь каждый день могли быть серьёзные перемены. Многие ждали, что нас возьмут на фронт. В том числе и я.

Через некоторое время арестантам действительно устроили медкомиссию.

– Ожидайте! Потребуется – возьмут и вас бить фашистов! – сказали нам.

Время шло. Поздней осенью лишь три человека потребовались.

Среди них был и один наш лагерный бригадир. За ним приехала из Магадана легковая машина. После бани он вышел в военной генеральской форме, и Анцев, начальник лагеря, отдал ему честь.

Всё лето шли плохие вести с фронтов. Культурно-воспитательная часть вывешивала газеты, в

которых были густо затушёваны сообщения о наших потерях на фронтах.

Однако мы умели читать между строк. К тому же арестанты своими спинами и желудками чувствовали трудность положения там, на воле. Работать уже заставляли по двенадцать часов, кормили пустой водой. Лагерная неразбериха и произвол усилились: редкий день проходил, чтобы конвой кого-то не застрелил. Нашими трупами они закрывали себя от фронта.

Да мы и сами дружно взялись умирать: голодно, стужа, – так что уже не стало хватать гробов. За день покойников бывало до тридцати и больше. Поначалу на них хотя бы надевали чехлы от старых матрацев, потом и вовсе стали возить под сопку голяком. Присыпят щебёнкой, и всей памяти о человеке остаётся колышек с номером дела.

В начале зимы убило в шахте Васю Рябых.

Как ниточка на свободу оборвалась. Я остался один...

Скоро меня определили на Васино место: разбивать кувалдой земляные глыбы и отвозить на вагонетке к стволу. К этому времени я уже еле таскал ноги. Арестанты недоедали, а староста Борис Ярославский, лагерный завхоз и завстоловой открыто наживались. Неплохо чувствовала себя и обслуга.

В ноябре в ночной смене я отравился в шахте газами после подрыва лавы. Упал возле стены и корчусь: наизнанку выворачивает, а рвать нечем.

Увидел меня начальник смены Лимонченко и сунул в лицо сапогом. Два зуба только так слетели. Я залился кровью.

– Почему не работаешь, падашь?!

И я снова целую его сапог. Только много ли надо арестантским зубам? Были, и нет.

– Гражданин начальник... – прошамкал я. – Не бей... Я газами отравился... Сил нет...

А тут ещё наскочил начальник конвоя и дулом нагана – в лоб.

– Встать!

Повёл меня якобы в контору, да только по дороге велел свернуть в сугроб. Ясней ясного зачем.

Я упал перед ним на колени.

В сентябре этот человек на моих глазах всадил пулю в арестанта за то, что тот заступил на шаг запретную зону: увлёкся, обрывая шишки стланика. А в них – орехи, правда, помельче кедровых. К счастью, раненый выжил. Догадался пальцем заткнуть рану. Так он избежал смертельной потери крови, пока дошёл до лагеря.

– Как она, смертушка, страшная на вид?... – усмехнулся начальник конвоя.

– Не знаю... – покачал я головой. – Детишки перед глазами стоят!

– А сколько их у тебя?

– Двое.

– Ребята?

– Да, пацаны...

Начальник конвоя, отшагнув, сунул наган в кобуру.

– Хитрый ты, Данильченко! Заговорил меня, а я и остыл! Хотя тебя по всему следовало пристрелить. Иди вперёд!

Он привёл меня в контору и дал листок, карандаш.

– Пиши, что ежедневно будешь выполнять норму на... сто тридцать... пять процентов!

Я писал, стараясь не закапать бумагу кровью.

– И ещё добавь, что в противном случае просишь расстрелять тебя на месте как злостного саботажника!

Я добавил.

В это время в контору ввалился заспанный начальник шахты. Он взял мой листок и, прочитав, недоумённо хмыкнул:

– Что тут происходит?

– Да вот Лимонченко велел этого гада застрелить. От работы уваливает, – сказал начальник конвоя.

– Так и надо было стрелять! Зачем приволок сюда?

– Он утверждает, что отравился газом.

– Цацкаться с ними! Лучшие люди тысячами гибнут на фронте в битве с гитлеровцами! – выкрикнул начальник шахты и покосился на меня.

– Так, может, вывести его и того?.. – привстал начальник конвоя.

– У меня под окнами? Раньше надо было думать! Теперь веди в лагерь к врачу. Если он не подтвердит отравление, приказываю шлёпнуть Данильченко на месте!

– Не промахнись! – улыбнулся начальник конвоя, как видно, памятуя тот свой неудачный выстрел в собиравшего шишки арестанта.

Мы пошли в лагерь. Мне было не по себе: время третий час ночи, и врач, которого мы сейчас не ко времени разбудим, может с досады объявить меня симулянтом. Среди заключённых, особенно уголовников, действительно было немало премудрых «косарей».

Мои опасения оказались напрасны. Хотя доктора мы и побеспокоили, но он добросовестно осмотрел меня и устало сказал:

– Какой из него работник? Зря вы человека топтали... Он в самом деле отравлен. И тяжело.

– Живи! – нахмурился начальник конвоя.

Днём, часа в четыре, лагерников загнали в столовую: приехал лектор из Магадана, чтобы вдохновить нас на новые трудовые подвиги. В докладе он рассказал о тяжёлом положении в стране и призвал работать для фронта, не жалея сил.

После его выступления поднялся начальник смены Лимонченко:

– Товарищ лектор! Большинство наших заключённых трудятся хорошо. Но есть и такие, как Данильченко. Он сегодня прямо заявил мне: расстреляйте, но работать не могу! Я думаю, что таких людей мы не потерпим в своей среде!

Начальник лагеря Анцев ухватил меня за шиворот.

– Встать!

– Заключённые! – с пафосом крикнул Лимонченко. – Этот саботажник арестован и будет расстрелян! А пока в изолятор его.

Надзиратели набросились на меня. Я не ожидал, что со мной так поступят, и растерялся. К тому же всё равно оправдываться было бесполезно. Сколько раз смерть ходила рядом, но на этот раз она, как видно, добьётся своего.

И я впервые попытался бежать безо всякого плана, наобум, к тому же у всех на виду. Собственно говоря, это был даже не побег. Я чудом вырвался и со всех ног метнулся к проходной. Проскочив её, ошалело бросился в темноте к колючей проволоке. Хотел пролезть. Однако она хватко цепляла меня. Без распорок было не справиться с ней.

А тут уже и прожектора зажгли. По тревоге выбежала охрана.

Рядом ударила пуля – меня заметили с вышки.

Согнувшись, я бросился в ближайшую палатку и забился под нары. Но это всё равно что овце в кошаре прятаться. Через минуту в палатку ввалились староста Борис Ярославский, нарядчик и начальник культурно-воспитательной части с «летучей мышью». Посветили по нарам, потом опустили фонарь ниже.

– Вот он, голубчик! – радостно сказал Ярославский. – Вылазь!!!

Начальник КВЧ что было силы ударил меня по голове рукояткой нагана.

Ночь я в одном нижнем белье просидел на снегу в изоляторе, обнявшись с бывшим дивизионным политруком Алексеевым. Он до утра рассказывал мне про Ленина, про старых большевиков и как позже Сталин мстительно предал их идеи. Я мало что понимал, но всё равно разговор помог мне кое-как продержаться.

Ночь, день и ещё ночь пропрыгали мы на морозе с дивизионным политруком, ожидая расстрела.

Утром заглянул надзиратель:

– На работу пойдёте?

– Ещё бы!!! – закричали мы.

Нас одели, дали горячего супа с камсой, по пайке хлеба и отправили бурить вечную мерзлоту.

Война продолжалась...

Хета – по-якутски «ветер». Здесь на прииске горловина, и всегда, особенно зимой, тянет он что есть силы, несносный и злой. А с дровами на Хете плохо: леса поблизости нет, да и горы голые. Разве что брусничкой подкормишься с них осенью.

И вот однажды сложилась такая ситуация, что вообще стало не на чем варить еду. Староста Борис Ярославский собрал бригаду, и мы без конвоя поехали искать дрова. Нам было разрешено ломать не только старые бутары, но и всё, что попадалось вдоль трассы подходящего для печей.

Стараемся час, другой...

Вдруг я неподалёку увидел на обочине мешок. Встряхнул – мука. Судя по надписи на мешке, как видно, американская, ленд-лизовская.

– Ребята, живём! – сказал я. – Вечером будут олады.

И только мы этот мешок спрятали в сугроб, как на дороге объявились какие-то двое и не спеша направились к нам. Остановились возле меня. И тут один из них, глядя себе под ноги, вдруг негромко зашел:

*Котик сало ел и засалился,  
Котик сало ел, замусолился...*

По интонации я признал блатаря.

Он сдержанно улыбнулся:

– Что же ты готовым пользуешься, мужик? И следы не заметаешь? Посмотри на себя – весь в муке! А мы за неё головы подкладывали. Знаешь, что тебе через это полагается?..

Они достали ножи.

– Нам всё равно терять нечего: мы – вольные заключённые! Вользак!

В общем, уголовники, да ещё – беглые. Худший вариант. Я почувствовал смерть ближе, чем там, возле ствола шахты, когда начальник конвоя поставил меня в сугроб на колени.

Неужели я перебрал все сроки своей лагерной жизни и нет у меня иного выхода, кроме как голяком в вечную мерзлоту? По всем признакам так. Самая настоящая охота на меня началась со всех сторон.

– Ваша мука в целостности-сохранности... – сдержанно сказал я. – А потом на ней никакого адреса не было. Но раз хозяева нашлись – забирайте!

Они убрали ножи.

– Правильные слова, кореш. Ладно, отсыпь себе мучицы. Эфир и Ломовой с тобой поделились.

Вечером мы ели в бараке олады из американской муки. Кому-то они на день-другой продлили жизнь. Или лишь растянули мучения?..

Вскоре я познакомился с лагерным портным Цыпкиным, и мои арестантские дела поправи-

лись. Старый смоленский еврей Цыпкин сидел за троцкизм. В сорок первом его срок кончился, но нашего портного не отпускали на свободу до особого распоряжения. Однажды я ему исправил уют, так он с тех пор часто давал мне то хлеба, то сахара. Я заметно окреп. А когда охрана застрелила электрика, Цыпкин убедил Ярославского взять меня.

Так стал я лагерным «придурком». Отмылся в бане, ел теперь не в арестантской столовой горькую ээковскую баланду, а потчевался на кухне из отдельного котла с человеческим харчем, был хорошо обут и одет. Я наконец почувствовал себя чуть ли не счастливчиком. Обязанности мне определили нехитрые – следить, чтобы по всем баракам, служебным помещениям и подсобкам было исправно освещение.

Подкормившись, я по своей инициативе установил паровой котёл для отопления столовой и больницы, в столярной мастерской сделал циркулярную пилу. На склад и в караулку провёл радио. Однажды меня пригласил Анцев и вырвал из лагерного журнала лист, где было записано, будто я отказываюсь работать. А это смертный приговор. И его могли привести в исполнение в любой момент.

– Смотри, я спасаю твою жизнь! – сказал Анцев. – Но если ещё раз подзасекнёшься, пощады не проси.

Так часто складывается арестантская судьба: то смертельная опасность, то – благодать. А вот Цыпкин так и не дождался для себя особого распоряжения. В сорок четвёртом году по весне пошёл он от безнадёги в лес и повесился...

Анцев в сердцах назвал старика «неблагодарной тварью». Он очень расстроился, что потерял такого мастера: Анцев через Цыпкина был на виду перед колымскими начальниками всех мастей и особенно перед их жёнами.

Через некоторое время меня стали даже за зону выпускать без конвоя. И вернулись мысли о побеге.

В лагерной котельной была маленькая мастерская с верстаком, – и занялся я из листового эбонита делать портсигар для дороги на волю. Сам не предполагал, какую услугу со временем окажет мне эта безделица.

Однажды вошёл в мастерскую Анцев.

– Кому лепишь? – с любопытством покосился он на верстак.

– Ещё не знаю. За табак с кем-нибудь разменяюсь!

Кстати, курильщик из меня был не самый заядлый. А вот в побеге табак может оказать немалые услуги: машину остановить, лодку выпросить и даже, на худой конец, сбить со следа собак.

– Как закончишь свою штуку – никому не отдавай!



– Анцев похлопал меня по плечу. – Я завтра зайду, посмотрю, что получилось у тебя.

Портсигар вышел великолепный. На крышке из цветных пластмасс набран вид моря: парусная лодка, кипарисы, горы. К тому же я всё это отполировал до зеркального блеска.

Анцев пришёл вместе со старостой.

– Закончил?

Я подал портсигар.

Он посмотрел, улыбнулся и положил себе в карман.

«Ах ты, чёрт! – озадачился я. – Плакал мой табачок!»

И ошибся.

Анцев вынул блокнот.

– В хлебе нуждаешься?

– Нуждаюсь, – говорю я с сытым брюхом.

– Табак нужен?

– А как же, гражданин начальник!

– Спирт пьёшь?

Я смутился.

– Пьёт! – поспешно сказал староста.

Анцев написал: «Ларёк. Выдать подателю из моего фонда буханку хлеба, триста граммов табаку, килограмм сахара и пол-литра спирта».

Он ушёл. Староста за ним, но уже через минуту вёртко вернулся и предупредил:

– Чтобы через час спирт был в моём кабинете!

Он был там даже раньше. Иначе наживёшь горя. Я достаточно насмотрелся на револьверные стволы у себя под носом.

В декабре сорок третьего меня неожиданно перевели в другой лагерь.

Выдали на руки формуляр, сухой паёк и велели добираться на новое место попуткой.

Соблазн бежать был велик, но я понимал, чем может уже скоро закончиться этот отчаянный рывок. Для такого предприятия нужен серьёзный задел.

По прибытии я сдал на вахте формуляр, а в десять утра явился к своему новому начальнику.

– Фамилия?

– Данильченко.

– Наконец-то! – обрадовался тот. – Это я тебя выхлопотал к себе аж через высокие магаданские шишки! Сделаешь мне портсигар, но чтобы лучше, чем у Анцева!

Сделал.

А вскоре меня за две машины сена взял к себе начальник гаража Шаров. Я и ему сделал портсигар, даже золотом украсил крышку. Оно у него водилось.

Однако никому я не сделал лучшего портсигара, чем Анцеву. Хотя каждый раз старался, зная, что мне грозит, если работа не покажется моему очередному начальству. Но им она всегда очень нравилась.

Год за годом я через эти портсигары переходил из рук в руки. Правда, одному человеку всё-таки отказал. Под предлогом, что руку молотком неосторожно прибил. Это был Васильев, оперуполномоченный по борьбе с беглецами с прииска «Хета». Немало перестрелял он эзков для собственного развлечения.

– Ну, смотри! – пригрозил мне Васильев.

С досады он даже устроил в моей мастерской обыск, но ничего недозволенного не нашёл. В конце концов он бы, конечно, добрался до меня, однако Анцев заступился.

Между прочим, Анцев благодаря этой бездельнице, моему портсигару, со временем неплохо устроился. Однажды его цацку увидел тогдашний начальник Севвостлага Жуков. И не раздумывая переложил портсигар в свой карман. Возможность отблагодарить Анцева он нашёл быстро: перевёл с прииска в Усть-Утиную, где был лагерь, изготовлявший ширпотреб и игрушки. Анцев забрал с собой старосту Бориса Ярославского, личного повара, сапожника и того самого знаменитого портного Цыпкина, тогда ещё не приглядевшего для себя надёжный сук.

Через Колыму ежедневно летели эскадрильи американских транспортников. В Сеймчане они делали посадку, заправлялись горючим. Пароходы доставляли в порт студебеккеры, укомплектованные кожаной шофёрской спецодеждой, заокеанские продукты, ношенные пальто, костюмы и платья. Даже невиданные по яркости фонари «даймон».

Само собой, всё самое лучшее доставалось лагерному начальству, в первую очередь их жёнам. Кое-что, правда, распределяли и среди вольных. Эзкам тоже перепало, но в основном через обмен, процветавший одно время на центральной трассе.

У «перекупившего» меня Шарова я стал свободно ездить за зону. Посылали в основном в Атку, а однажды мы с шофёром Юркой Жидковым отправились в сам Магадан. Юрка из «серых», ни с какой мастью не тёрся, но умел сам постоять за себя. Кличка за ним имела Бабай, старик. Юрка был ещё недавно вольнопоселенцем. Это эзк, которому за ударный труд разрешали жить до истечения срока за зоной вместе с семьёй. Но во время Великой чистки такую роскошную привилегию отменили. Юрку вновь водворили в лагерь, а его семье пришлось уехать. В общем, ему было что рассказать. В пути мы не скучали. Даже поспорили, когда же наконец закончится война и Гитлеру – капут!!! Юрка настаивал, что бои будут продолжаться ещё года два, мне же виделась победа к следующей весне.

Не доезжая до колымской столицы, я попросил Юрку остановиться. Невдалеке строился аэродром,

и туда на майски зазеленевшее поле нагнали сотни заключённых. Среди них могли быть знакомые.

Так оно и вышло. Стоило мне вылезть из кабины, как какой-то зэк помахал рукой. Подойти он опасался. Я был за зоной, которую арестантам определил конвой. Пришлось подойти самому – не гордый.

Поздоровался, взглядываюсь в доходягу в рваном, обгоревшем бушлате.

– Узнаёшь?.. – едва сказал он, пошатываясь.

– Не припомню.

– Вронский...

Как я и предполагал, он быстро сдал.

– Хлеба... – пробормотал бывший военспец. – Ради бога...

У нас были кое-какие запасы в машине. Я сбегал за банкой американской тушёнки, прибавил к ней буханку белого хлеба и дал закурить.

– Как теперь тебе моя ложь о Колыме? – без злорадства сказал я.

Вронский угрюмо покивал:

– Извини... Я часто вспоминал тебя.

Конвой не дал нам поговорить. Вронского отогнали прикладами.

– Прощай... – строго заплакал он.

В дороге мы узнали, что кончилась война. Это было и радость, и горе! За то и за другое мы выпили спирта из одной бутылки. Насчёт радости всё понятно, а вот арестантское горе заключалось в том, что теперь не оставалось надежды попасть на фронт. И, конечно же, освободиться. Пусть даже ценой крови. Да и голову лучше сложить там, чем сгинуть на приисках или лесоповале.

Вновь невыносимо заныла душа: бежать!..

По дороге в Магадан я сознался в своей тоске Юрке Жидкову. И не промахнулся. По приезде он без всяких проблем достал для меня целых три комплекта документов.

– Выбирай, мужик...

И я выбрал паспорт, командировочное удостоверение, военный билет и справку о выезде на материк по болезни на имя Хисматова Михаила Хисматовича. За десять колымских лет на здешних ветрах и морозах глаза у меня стали как у якута.

Когда мы вернулись, Жидков собрал мне в бараке на дорогу четыреста рублей и дал две продовольственные карточки. От него же я получил надёжный адрес в Куйдусуне. И всё это Юрка делал так, чтобы сторож гаража, старый и опытный осведомитель, ничего не заметил.

А тот как нарочно зачастил ко мне. Как-то даже принёс бутылку спирта. Учитывая такую странную щедрость, Жидков посоветовал мне на всякий случай временно отложить побег, но я уже всей душой настроился на волю. Готовился как никог-

да тщательно. Понимал, что это мой последний рывок.

Однажды под субботу двадцать седьмого мая тысяча девятьсот сорок шестого года Шаров велел мне восстановить электрооборудование на двух машинах.

– Откуда его взять, Павел Григорьевич? – сказал я. – На складе пусто.

– Ничего не знаю! – вспыхнул Шаров. – У меня есть электрик или нет?

Я тут и предложил:

– Павел Григорьевич, разрешите съездить в Атку. Там у меня друзья. Они всё достанут! И табачку, между прочим.

А в те годы у колымских курильщиков как никогда появились проблемы на этот счёт.

– Точно привезёшь? – подобрел Шаров.

– Хоть килограмм.

– Тогда валий.

Я уложил в мешок хлеб, сахар, селёдку («этапный кит» по-лагерному) и побольше махорки. Но первым делом опустил туда почти пудовый электромотор. Во-первых, вещественное доказательство того, что я электрик. Во-вторых, арестантская хитрость: какой же беглец станет таскать за собой такой груз? Значит, действительно еду по делу. Это получше всяких документов может усыпить бдительность проверяющих.

Повёз меня снова Жидков. В Атке я по его совету на клочке бумаги накарябал записку для начальника гаража: «Павел Григорьевич! Меня ни за что ни про что задержала опергруппа. Прошу, выручайте!» На прощание Юрка заверил, что отдаст записку только тогда, когда меня хватят по-настоящему. И не от себя. А скажет, будто бы ему передал её проездом какой-то незнакомый шофёр. Таким образом мне перепадало выигрыша во времени трое-четверо суток. За эти дни наверняка доберусь до Куйдусуна.

Простившись с Жидковым, я уже в одиннадцать часов ночи, светлой как день, доехал на попутке до прииска «Горный». Здесь на бугре выбросил из кузова свой мешок и прыгнул сам. Дальше мне было в другую сторону.

Оставшись один, я сполна почувствовал, какое трудное дело принял на себя. На что решился!.. Ведь побег с Колымы – это не день и не два, а месяцы, целое лето опасной дороги.

И что ожидает меня в пути? Где поем? Где заночую?

Никому до сих пор такая затея не удавалась...

Я стал на колени.

«Господи! – восторженно воскликнул во мне. – Вынеси меня из этого ада! Дай силы и здоровье в пути! Ты знаешь, что я не виновен. Избавь от мук и страданий...»

В это время невдалеке затарахтела машина. Шла она со стороны Магадана на Ярославец. Я шагнул вперёд. В поднятой руке – пачка махорки для водителя.

– Подвезёшь?

– Тебе куда?

– До Аркагала.

– Далеко...

– Возьми хоть до Ягодного!

– А закурить есть?

Я подал махорку.

Через час я ехал мимо своего лагеря и нагнул голову.

Ларьковую и Орутукан миновали благополучно.

Рассвело.

– Сейчас будет проверка, – позёывая, сказал шофёр. – Документы у тебя есть?

– Не дрейфь... Найдутся... – мрачно отозвался я.

Мы подкатили к Колымскому мосту. Часовой остановил нашу машину.

Вначале он потребовал документы у шофёра. Я заранее вынул свой самодельный бумажник. Среди моих документов самым надёжным была справка о выезде на материк по состоянию здоровья. Один бывший арестант исполнил её у себя на картонажной фабрике. Эту справку я и подал вначале. У остальных моих документов несколько неважно обстояло с печатями. Если взглядеться, самодеятельность была видна.

Однако сошло. Часовой перелистал мои документы, присмотрелся ко мне. Я выглядел прилично. Перед побегом удалось достать на складе аэрогеодезистов тёмно-синий комбинезон, прорезиненную куртку и лётный шлем.

– Можете ехать, – сказал часовой и медленно поднял шлагбаум.

Некоторое время шофёр вёл машину по-над широкой напористой Колымой. С правой стороны реки тянулась бесконечная цепь высоких гор, как бы отделявших меня от недавней лагерной жизни со всеми её невзгодами.

Шофёр опустил стекло. Утренний ветерок дотянулся до наших лиц. Я жадно чувствовал первые часы своей свободы.

В посёлке шофёр забежал поесть в столовую. Он позвал и меня, но я отказался. Там можно было запросто встретиться с каким-нибудь знакомым оперативником. Я пошёл на берег реки, умылся, достал из «беглого» мешка сахар, хлеб и обмакнул их в чистую, как слеза, воду.

Потом мы снова ехали, и хотелось ехать как можно быстрее, но моя старенькая попутка большой скорости не развивала. Вскоре показалось Ягодное, красивый и крупный по тем временам районный по-

сёлок. Был какой-то праздник. На улицах гуляли хорошо одетые весёлые люди. Однако и здесь радость была рядом с горем. Увидел я в Ягодном и эков, которые работали, окружённые конвоем.

Проехали посёлок, и возле водонапорной башни шофёр сказал:

– Дальше добираться сам...

Я заплатил ему тридцать рублей и пошёл пешком. Но уже вскоре на крутом подъёме в гору меня догнал завывавший мотором студебеккер. В кузове сидели люди. Я подал им мешок и на ходу забрался в машину.

Когда выехали на ровное место, студебеккер остановился.

– Кто сел без разрешения? – выбрался из кабины шофёр.

Я соскочил.

– Извините, другого выбора не было. Вы не подвезёте меня?

– Дай закурить!

Махорки я припас предостаточно.

– В Берелёхе купишь «зубровку», – добавил шофёр.

И мы помчались дальше во всю мощь американского мотора.

Солнце стояло ещё высоко, когда я вкатил в Берелёх. Здесь пойти в столовую я уже не побоялся: отъехали далеко, так что вряд ли встретится кто из ненужных знакомых.

За обедом мы с шофёром выпили бутылку «зубровки». У него заметно поднялось настроение, и потом всю дорогу он опять держал хорошую скорость. Ленд-лизовская техника вполне позволяла.

Километров через восемьдесят я вдруг с ужасом увидел впереди закрытый шлагбаум: оперпост. Но мне и вовсе стало не по себе, когда я разглядел среди стоявших там людей фигуру того самого Васильева, которому я отказался сделать портсигар. Гроза колымских беглецов, оперуполномоченный невозмутимо покуривал.

Я лёг на дно кузова и сделал вид, что сплю. На голову натянул полу куртки. Вдруг борт качнулся. Сквозь пуговичную петлю куртки я увидел молоденького солдата. Занявшись проверкой документов, этот салага всем говорил «вы» и улыбался так, словно мы были его хорошими знакомыми.

Подав свои бумаги, я тоже невольно улыбнулся. Я был готов расцеловать солдатика. Он взглянул на мои документы, на меня и громко сказал, чтобы слышал шофёр:

– Можете следовать дальше!

Я облегчённо вздохнул. Машина резко тронулась.

Однако ещё не успела она проехать шлагбаум, как вдруг раздался голос Васильева:

– Стой! Стой, сволочь! Постучите ему!

Шофёру постучали по кабине. Я снова накрылся с головой.

В кузов энергично перевалился Васильев в кожаной тужурке и сел на корточки рядом со мной. Мне хорошо был виден его профиль: толстая шея, медная щека...

...Из расстёгнутой кобуры торчит рукоятка нагана.

Выхватить его?! А что дальше?.. Если Васильев узнает меня, то или сразу пристрелит, или изуродует как бог черепаха. А потом снова штрафная, голод, холод, унижения. Хотя какая разница? В итоге всё равно скорая смерть...

Я сгоряча решил завладеть его оружием. Чего лежать и ждать? Нет, тут только один выход: свяжу оперативника, а сам попытаюсь прорваться на машине к Куйдусуну. Там у меня надёжный адрес через Юрку Жидкова.

Моя рука медленно потянулась к васильевской кобуре. Вот уже пальцы аккуратно коснулись её лощёной кожи...

...В этот момент студебеккер подбросило на ухабе, и оперативник резко откатнулся в сторону. Он пересел на какой-то ящик поближе к борту. Я выругал себя за малодушие и нерешительность.

Как поступить теперь?..

Время тягостно тянулось, пока я раздумывал.

– Тормози! Я дома! – вдруг бодро крикнул шофёру Васильев.

Он спрыгнул и ударил кулаком по дверце кабины:

– Свободен!

И как будто он не шофёру это сказал, а мне... Я понял его «свободен!» по-своему. Я действительно почувствовал себя свободным.

Эх, беглец... Только что тебя чуть было головой по кочкам не поволокли. Сидел бы, чертынадзе, за колючей проволокой, упирался рогами и ел лагерную шулюмку, покуда жаба ципцу не даст. Так нет, чистой воли захотелось!

В Аркагал приехали поздно вечером.

Я ночевал в шумном и грязном общежитии для шофёров под рваным одеялом. Но для меня и это был добротный уют. Спал заячьим сном: боялся, чтобы не объявились с проверкой оперативники.

Рано утром разыскал в здешнем гараже попутку до поворота на Куйдусун. Она везла по каким-то делам молодую женщину. Я невольно вспомнил Маринку, детишек...

Ехали и на этот раз резво – мне снова попался новенький студебеккер.

– А когда поворот на Куйдусун? – спросил я соседку.

– Только что проехали! – вскрикнула она.

Я на ходу выбросил свой мешок, прыгнул сам.

Машина умчалась. Я запоздало спохватился, что второпях забыл в кузове прорезиненную куртку. И хотя мне было жаль её, однако я в конце концов решил, что так даже лучше. Многие видели, что я выехал в ней. А это немаловажная примета, если дадут знать оперпостам.

Я поднял мешок и пошёл к повороту на Куйдусун.

Там стояла будка, возле неё сидел часовой. Он внимательно смотрел на меня. Повернуть назад было поздно.

И я «смело» пошёл ему навстречу.

– Мне на Куйдусун. Эта дорога туда?

– Она самая! – как бы даже обрадовался моему появлению явно заскукавший в одиночестве часовой. – Посиди. Будет машина – уедешь.

Я с минуту побыл с ним. Часовой оказался разговорчивый и хотя спрашивал у меня всякую чепуху, но и на ней можно было ни за что погореть.

Я поскорей распроштался:

– Пойду потихоньку. Бывай! А машина меня не объедет.

Действительно, уже вскоре я снова сидел в кабине: на этот раз лесовоза.

И опять помогла заранее припасённая махорка. Как говорили в наших краях: никотин везёт максима.

По разговору и повадкам шофёра я скоро понял, что он бывший лагерник. Работает по найму, так и не получив права выезда на материк. Но и он в свою очередь понял меня ничуть не хуже.

– Колешь льды?.. – усмехнулся шофёр.

Колоть льды, нарезать, рвать когти – все эти слова обозначали то, что арестант сбежал из лагеря и теперь блуждает, пробираясь к намеченной цели. Таких было немало. Помнится, следователь Петухов сожалел, сколько эти бродяги могли бы добыть для страны дополнительного золота. Неспроста в войну побег стали рассматривать как политическое преступление со всеми вытекающими последствиями.

– Льды колешь?! – прицельней повторил шофёр.

Я покосился на него.

– О чём вы? Не пойму...

– Перед кем понтуешь! – усмехнулся он. – Я тебя насквозь вижу. И ты это прекрасно понимаешь. Только, по-моему, идёшь слишком смело! Так далеко не проберёшься.

Я на всякий случай решил сразу не сдаваться.

– Вы ошибаетесь! У меня документы в полном порядке. Могу предъявить!

Шофёр нахмурился.

– Я по «кумам» не хожу, дорожки к ним не протаптываю. А тебе советую быть осторожней. И желаю от души благополучно добраться до Хандыги. Другой дороги на Большую землю отсюда ведь нет?

– Нет... – согласился я.

Вскоре показали штабеля брёвен.

– Мне тут загружаться, – сказал шофёр. – Дальше иди сам.

И я пошёл.

Вначале по дороге, потом на всякий случай свернул в лес. Всё это время лихорадочно думал о том, чего я не учёл, готовя побег? Почему шофёр так легко распознал меня?.. Видно, есть на таких, как я, особая печать. И она сохранится на мне надолго, если не на всю жизнь...

Идти по лесу было тяжело: валежины, кочки, болотца, а на спине пудовая котомка со злосчастным электромотором.

Неожиданно послышался резкий хлопок. Не то чтобы выстрел, а так словно ударили лопатой по воде. Передо мной в трёх метрах опустилась на сук большая серая птица. Ни дать ни взять нечистая сила: ушастая, голова с арбуз, глаза – светло-зелёные, огромные. И смотрит в упор.

Я изрядно испугался. Такая запросто может и на оленёнка напасть. Мало ли что у неё сейчас на уме.

Я отломил от валежины палку.

Птица было улетела, но через минуту вернулась.

Я замахнулся на неё, но она даже не пошевелилась.

Ничего не оставалось, как мне самому уйти в сторону. Только ещё километра два птица летела следом. Один раз она так низко пронеслась над моей головой, что я с перепугу зацепил её палкой. Она отстала лишь тогда, когда я рискнул вернуться на дорогу и прибавил шаг.

Не успел километра пройти, как услышал мотор машины.

Поднял руку. И, конечно же, опять с пачкой табака.

– Давай мешок! – крикнули из кузова.

Сразу несколько человек подхватили меня и махом перетащили через борт.

Мороз пробежал по моей спине.

В кузове плечом к плечу сидели двенадцать энкавэдэшников. Апостолы Берии.

...Что перед ними та напугавшая меня зеленоглазая птица и вообще вся нечистая сила на земле и в поднебесье?..

Машина покатила дальше, набирая скорость.

Я судорожно ждал роковых вопросов.

Только никто в кузове даже не глянул в мою сторону. Соседи в погонах мирно подрёмывали. Никому не было до меня дела.

Вскоре мы въехали в посёлок Адыгалах, и машина остановилась возле управления высадить энкавэдэшников.

– Счастливо! – запросто сказал мне один из них.

Я пробормотал в ответ что-то такое, чего и сам

не понял. Так моя нелегальная свобода уцелела и на этот раз.

Шофёр подвёз меня до гаража. Я узнал здесь, что утром должна пойти машина на Куйдусун, но это будто бы ещё не точно. Пока она стоит на ремонте.

Только ждать я уже не мог: в любую минуту могло поступить сообщение о моём побеге. Я решил снова идти на трассу ловить попутную.

Но только вышел из посёлка, как снова увидел на дороге возле шлагбаума в будке часового с винтовкой.

Знакомая ситуация, но меня всё же потянуло в тайгу с глаз долой. Однако я направился прямо к часовому: собака гонится за тем, кто убегает.

– Помогите сесть на попутку... – собрав всю силу воли, сказал я.

– Предъявите документы! – шагнул ко мне часовой.

Я достал бумажник и подал командировочное удостоверение.

– Паспорт!

Я сник.

Часовой долго смотрел то на его первую страницу, то на меня.

Фотокарточка в паспорте была настоящая, но оттиск и печать вышли не совсем удачно.

Долго, очень долго мой паспорт и моя судьба были в чужих руках. Наконец часовой перевернул первую страницу, и мне сразу стало легче.

– Что в мешке? – пригляделся он.

Именно ради этого момента, которого, правда, могло и не быть, я столько дней таскал за спиной пудовый электромотор. Даже нарочно прорвал в мешке дырку, чтобы оттуда торчал наружу вещественным доказательством стальной вал якоря.

– Части! – сказал я чуть ли не с вызовом. – Насос отремонтировать надо.

– Куда едешь?

– В Куйдусун.

Тяжеленный мотор, который по логике вещей не придет в голову таскать с собой ни одному нормальному беглецу, сработал, как и было задумано. Он окончательно убедил часового вернуть мои документы.

Невдалеке от будки часового я заметил палатку – колымский вариант постоянного двора. Её хозяином оказался старик армянин. За ночлег он брал три рубля.

К ночи в палатку набилось человек пятнадцать. Тем не менее каждому нашлось по тощему соломенному матрацу и по старому одеялу.

Я прилёг с нехорошим предчувствием: народ в палатке сошёлся незнакомый, разношёрстный. И вскоре случилось то, чего я боялся. Пятеро постельцев перепили и начали скандалить с хозяином.

Вдруг один из них выхватил финку и внушительно сказал армянину:

– Ара, ещё одно слово, хорошее или плохое, и я выпущу твои вонючие кишки.

Мне удалось уговорить старика на время выйти, а этому с финкой я как можно спокойней заметил:

– Зачем, друг, ищешь себе несчастье? Ложись спать.

Мои слова, к счастью, подействовали. В голосе у меня уже невольно была матёрая зэковская интонация. В общем, всё обошлось без крови.

Утром я выглянул из палатки: резкое бодрое солнце, развалы ярких облаков и между ними разливанная червлёная синева, почему-то всегда напоминавшая мне детство, деревню, отца и мать, Льва Максимовича...

И всё же это было утро свободы. Пусть и нелегальной. Хотя она по-прежнему была под множеством вопросов, я сейчас ясно почувствовал главное преимущество вольного человека: возможность идти на все четыре стороны...

Вчерашний часовой маячил возле будки на прежнем месте, но мне теперь до него не было дела. Я мог пойти куда захочу!

Так я блаженно рассуждал до тех пор, пока к часовому не подошёл мужчина в поношенном синем комбинезоне и с овчаркой на поводу.

Оперативник?

Я снова ощутил себя приговорённым к смерти беглецом...

Вот они уже о чём-то говорят, и часовой почему-то показывает в мою сторону...

Оперативник явно приглядывается ко мне. И пёс его приглядывается.

– Эй, ты! – вдруг кричит опер.

Я размазанно улыбаюсь.

– Иди сюда!

Иду.

Часовой почему-то смеётся. По дороге, чуть не сбив меня, проносится студебеккер. Возможно, это моя долгожданная попутка на Куйдусун.

Но мне сейчас ни до чего нет дела. Я забыл, кто я такой и почему я здесь.

– Здорово! – простецки сказал он.

Его пёс вдруг зевнул, взблеснув на солнце золотом клыков.

Я однажды слышал о таком кобеле, но считал это колымской легендой. Будто бы начальник режима одного из здешних лагерей завёл себе немецкую овчарку, «трофейную». Он её ценком из Германии после победы привёз вместе с контейнером мебели, фарфора и бронзовых антикварных вещей. Пока выхаживал, привязался к псине всей душой. Цацкался, как с малым ребёнком. А когда она подросла,

велел двум арестантам, которые подкармливали себя тем, что делали лагерникам коронки и мосты, для пущего шика «озолотить» собачьи клыки. По части благородного металла проблем у него не было. Будто бы даже видели у начальника режима портфель, набитый золотыми коронками, с которыми немедленно расставались зэки, попадая в его лагерь. Одним словом, он отсыпал арестантам-умельцам «жёлтых семечек» из своего запаса сколько нужно.

И они постарались. Скрутили собаку, сделали оттиски, а через три дня она уже щеголяла блатарским золочёным оскалом. С непривычки к коронкам пёс первое время не совсем закрывал пасть, будто хвастался: вот, мол, смотрите, какой я фраер!

Не знаю, он ли сейчас прыгал передо мной или это уже такая мода пошла у особаченных энкавэдэшников, однако я оторопел перед золотозубым псом, как перед начальством.

– Нам надо поговорить, – сказал оперативник.

– Говори... – вздохнул я.

– Пойдём за палатку.

– Говори здесь! – насторожился я.

– Там будет удобней.

Мы пошли.

Я невольно старался держаться подальше от собаки. Пока шагали, он попросил у меня закурить. Мы свернули по сигарке из моего табачка, приготовленного для побега.

Оперативник пылливо покосился на меня:

– Комбинезон у тебя хороший. Махнёмся?

Я наконец понял, что к чему, и смело глянул ему в глаза:

– Иди своей дорогой!

Такого ответа он не ожидал.

– Не даром прошу! Получишь додachu. Свой отдам взамен. Согласен?

Я покосился на золочёные клыки:

– Если я тебе откажу, наверняка моей заднице придётся их отпробовать?

Оперативник усмехнулся:

– Собака не моя. Это цацка нашего начальника режима. Отведать зэковского мяса ей одно удовольствие.

Я напрягся.

– Я не зэк. Возвращаюсь по пересмотру на материк. Предъявить документы?

– Снимай комбинезон! – уже настойчивей повелел он.

Собака как поторопила меня острым золотым взблеском.

– Не пойдёт... – вдруг точно нашло на меня. Такие приступы внезапного упорства я периодически замечал за собой. И чаще всего они почему-то случались в самый неподходящий момент.

– Смотри, тебе видней... – глухо сказал оперативник.

Он ушёл, а его слова засели во мне. Отныне ещё одним человеком стало больше, который считает, что я его должник. И долг мой немалый. Я задолжал ему по колымским законам ни мало ни много свою арестантскую жизнь.

После полудня наконец удалось остановить попутку. Однако от табака шофёр отказался:

– Свой имеется. Так что топай пешкодралом.

И денег не взял.

– У меня их куры не клюют.

Тогда я протянул ему портсигар. Такого изящного у самого начальника Дальстроя не было. Жаль, конечно, было с ним расставаться, но я не мог медлить.

– Лезь в кузов, – самодовольно улыбнулся шофёр.

Следом за мной неожиданно забрался и оперативник с золотозубой овчаркой. Мне стало тревожно. Ехали, не глядя друг на друга. С минуты на минуту я ждал для себя самого худшего и был настороже. Вдруг он решил свести со мной счёты, не откладывая на потом? Нет, так просто я не дамся. Сил у меня теперь достаточно и на него, и на собаку.

Ехали небыстро: дорога оказалась плохая, к тому же шофёр то и дело выскакивал с ружьём стрелять уток. Случалось, что он за остановку убивал штук до десяти.

Под вечер мы остановились, развели костёр и сварили добычу в ведре. У шофёра оказался спирт, и он угостил нас.

Ночевали в каком-то заброшенном домике. Тот стоял на косогоре возле дороги. Мы наломали половых досок и разожгли невестку как целев-шую здесь самодельную буржуйку.

Когда расшуровали её докрасна, подъехала ещё одна припозднившаяся машина, и в ней оказались три женщины. Назвались они офицерскими жёнами, но с виду были самые настоящие спекулянтки. Хотя и то, и другое совместимо.

Снова появился спирт. Однако меня одолел сон, и я пристроился возле печки. Рядом лежала овчарка. Блики огня попадали на её золотые клыки, и лучше бы мне этого было не видеть...

... Во сне собака гонялась за мной, дыша огнём из пасти...

Я мучительно стонал, но шофёру и оперативнику было не до меня: они напоили женщин, потушили копилку, и у них начались свои охи-вздохи.

На рассвете нас разбудил протяжный рёв бурого медведя. Запоздало проснувшийся от зимней спячки косолапый душераздирающими рыками прочищал свои лёгкие. Явно это был матёрый самец килограммов под семьсот и длиной метра три.

День выдался на редкость тёплый и солнечный. На постах машину не задерживали. Видели, что в ней едет оперативник с овчаркой. Его знали, и до самой Индигирки мы домчались без остановок. Здесь я слез.

Прощаясь с хозяином золотозубой овчарки, я всё-таки уступил ему свой комбинезон. Не так будет жалеть, кого упустил из-под самого носа, когда вскоре по трассе передадут мои приметы.

Он в знак благодарности налил мне полбутылки спирта.

Мост через реку снесло полой водой. Я нашёл перевозчика, и он взял с меня трешку.

На той стороне я вначале шёл лугом, глотая комаров, потом начался лес. Спустившись в балку, увидел на дороге молодую женщину с двумя полными ведрами. В них было молоко.

Поздоровавшись, я попросил попить.

– Пей досыта, дяденька... – мило улыбнулась она.

А я уже и вкус молока забыл. Попью, отдохну и снова пью. Литра три в меня поместилось. В общем, поблажило. Точно у себя дома в деревне побывал.

До Куйдусуна оставалось шесть километров.

Шёл я их резвее резвого. В конце пути зарослями лозняка осторожно добрался до нужного дома. Его приметы Жидков перед расставанием описал мне в подробностях.

– Бе-жал бродя-га с Са-ха-лина-а... – постучав, негромко запел я.

– Кто там? – настороженно спросил женский голос.

– Алексей! Данильченко! – с радостью назвал я своё настоящее имя и фамилию.

– Сейчас разбужу мужа...

Тот тоже, подойдя к двери, сдержанно поинтересовался:

– Кто ты?

– Бежал бродяга с Сахалина, а я с Колымы.

– Ты Лёшка?

– Я, открывай, не бойся.

Из дома вышел Саша Ситник, мой бывший сосед по лагерным нарам. В сорок третьем он освободился и теперь работал здесь с геологами по вольному найму.

Мы прошли в маленькую комнату. Саша поставил передо мной холодную тушёную картошку с оленевой. Я ответил ему, выставив спирт оперативника с золотозубым псом. Мы во благость закурили моего табачку. Он ещё не весь вышел. С табаком я не просчитался. Только задушевного разговора у нас всё равно не получилось. Чувствовалось, что Сашиной жене не по душе моё появление. Она в своё время была осуждена за опоздание на работу и пять лет отмотала

электриком на заводе в Орутукане. После победы освободилась по амнистии.

Саша коротко объяснил мне, как себя здесь вести.

Под утро его жена разбудила нас. Я прокрался в лес и дотемна просидел в зарослях стланика.

Вернулся к Ситнику ночью, и была баня, и был снова спирт.

– Только, гляди, не пей!.. – предупредил Саша.

Я не пел. Мне было не до песен.

В Куйдусуне я прожил три дня.

За это время Саша устроил меня в геологическую экспедицию, которая уезжала в Оймяконский край.

Шаг за шагом приближался я к Хандыге.

Дорога туда шла через горы. Её прокладывали лагерники, которые тысячами остались навсегда в здешней вечной мерзлоте. Гробовой край.

В пути мы охотились на куропаток и горных баранов, часами лазая по скалам и безрезультатно пытаясь подстрелить их.

На высоте погода переменилась. Перевал Яблочный оказался завален сугробами. Лишь далеко за полночь мы добрались до небольшого посёлка и остановились в придорожном доме.

Хозяин нелегально делал бражку и продавал по пять рублей за кружку.

Выпил и я. Бражка оказалась вкусна и пьяна, но от неё сильно болела голова.

Под утро ещё одна геологическая партия набрела на наш дом. Бражки хватило всем. Откуда-то появилась бочка свежей форели. Мы развели во дворе костёр, достали жаровни.

Такой вкусной рыбы я никогда не ел. Как потом выяснилось, форель водилась неподалёку в озере явно вулканического происхождения.

С геологами, которые присоединились к нам, оказался мой приятель Паша Колонийченко. Освободился он давно, но его, как и многих, до сих пор не отпускали на материк через какую-то секретную инструкцию.

Паша понял, что я в бегах, и дал мне на дорогу триста рублей. Мы кое о чём потолковали: он в свою очередь подумывал летом бежать отсюда к себе на родину в Краснодар.

Начальник нашей экспедиции, подвыпив, подозвал меня:

– Хисматов, я вспомнил, что видел тебя раньше! В бухте Амбарчик. Только у тебя вроде была тогда другая фамилия... Как это понять? В бега ударился?

– Я освободился по пересмотру с выездом на материк, – чётко сказал я.

– Покажи документы! – Он протянул ко мне руку.

– А зачем тебе? Ты не оперативник.

– Я твой начальник!

Я обнял его:

– Не порть себе праздник.

Он недовольно засопел, но отстал.

Больше мы не говорили.

Утром начальник экспедиции ушёл с партией на север, но без меня. Я на попутной машине поехал дальше на запад.

Шофёр, парень молодой, а пригляделся ко мне и тоже всё понял:

– Ты, земля, дальше Хандыги не проберёшься. Попомни моё слово... – зевнул он. – Там тебя заведут куда следует и заставят сыграть на рояле. В Хандыге, земля, каждого залётного проверяют под микроскопом. В общем, обратно ты вернёшься гораздо быстрее!

Я знал и без него, что Хандыга – самое трудное испытание. Это граница Колымы. Там, если что заподозрят, ни один мой документ не поможет. Будут держать до полного выяснения: наведут все справки, возьмут отпечатки пальцев...

– Жаль тебя, дядя! – толкнул меня локтем шофёр. – Большую дорогу проделал! Так и быть, дам тебе адрес моего земляка с Белой Церкви. Ваня Бельский. Он посадит тебя на пароход. Только не проговоришь ему, что ты экз.

– Откуда это видно, черти полосатые?! – взорвался я.

– Ты очень явно при встрече с охраной воротишь морду! – засмеялся шофёр.

Во второй половине дня мы миновали перевал. Я сразу почувствовал, как легко здесь дышится. Воздух в этих местах совсем не такой, как по ту сторону гор, на Колыме. Но это ещё не воздух настоящей свободы...

Последние шестьдесят километров до Хандыги дорога была широкая и ровная. Вместо привычных для меня лесов и гор вокруг развернулась равнина, зеленели хлеба. Река Алдан разлилась вширь на многие километры, затопив пойменные деревья по самые макушки.

Через час я был на месте. Не знаю почему, но по улицам Хандыги шёл смело. Даже вывеска на здании Управления внутренних дел меня не смутила.

Иван Бельский жил на окраине. Я безошибочно нашёл его дом, побелённый снаружи и изнутри, как украинская хата.

Я передал Ивану привет от шофёра, который подвёз меня и вынул с адресом. Он обрадовался, и вскоре я уже ел борщ с олениной. Неужели у них другого мяса здесь нет?

Чтобы Иван не подумал, будто я в бегах, мне пришлось пойти на хитрость. Я сказал, что хочу найти работу в Хандыге. Однако Иван, рассказав про трудное здешнее житьё, сам посоветовал мне ехать обратно домой. И пообещал посадить на пароход до



Якутска. У него есть знакомый капитан, который зимовал в Хандыге, и меня возьмут матросом.

Я просидел у Ивана пять суток.

За это время капитан успел разбить свой пароход о скалу у Охотского Перевоза и утонуть вместе с экипажем.

Я загрузил. Жить здесь дальше было небезопасно.

На шестой день утром сквозь сон я вдруг отчётливо услышал тугой гудок парохода. Дом наш всего в ста пятидесяти метрах от Алдана.

Я выбежал.

Невдалеке шлёпал плицами пароход с двумя баржами на буксире.

Я бросился к реке.

– Капитана!! – кричу. – Капитана!!!

Он вышел на палубу.

– Возьмёте матросом?!

– Команда полностью укомплектована... – сдержанно сказал тот и махнул молодой женщине, которая стояла на барже возле будки. – Надя! А тебе не нужен матрос? Ты одна, а плыть нам не близко.

– Кого вы хотите дать мне?.. – озорно улыбнулась Надя.

– Вон танцует на берегу! – махнул капитан в мою сторону.

Надя весело пригляделась.

– Был бы хуже – отказала. А такого соколика – возьму! – от души засмеялась она.

– Договорились! – сказал капитан. – Подай ему баркас.

Я растерялся.

– Мне ещё надо сбегать за вещами! Тут рядом! Три минуты. Я у Вани Бельского живу.

Они его знали и согласились.

– Только скорей, а то уйдём!

Я побежал, спотыкаясь о кочки, однако с полпути вдруг вернулся. Документы со мной, а остальное – пропади оно пропадом! Так я наконец расстался со своим пудовым мешком.

Пароход бодро дал гудок и пошёл вверх по Алдану.

Мы плыли до Угольной. Шкипер Надя Кирьянова устроила меня в тёплой и уютной каюте. Я снова представился Михаилом Хисматовым. А потом мы долго разговаривали за чаем. Был он по-северному без сахара и очень крепок.

В Угольной на двадцать дней стали на якорь. Ждали, пока спадёт вода.

Делать на барже было нечего: разве что я изредка мыл полы и откачивал воду. Однажды к нашему борту пристал на лодке какой-то мужчина и, вроде меня, попросился в матросы. Из документов у него имелась лишь справка об освобождении из Верхоянского лагеря.

– Василий... – сухо представился он.

– Михаил, – сказал я не namного радушной.

По всей видимости, одно имя соответствовало другому своей правдивостью.

Только добрая Надя и Василия оформила матросом. Более того, первую же ночь он провёл в её каюте. Одним словом, они сошлись: стали жить как муж с женой. Она сразу повеселела, а её обеде заметно повкуснели.

Через несколько дней утром мы наконец вышли на большую воду: река Лена. Пароход повернул вниз против течения, и наша скорость резко снизилась. Рулевой старался держаться ближе к берегу. Так что иногда нависшие над водой лозы задевали баржи.

Вечером до нас вдруг донеслось:

– Человек за бортом!!!

Оказывается, на пароходе были заключённые. Один из них и прыгнул в реку. Заросли лозняка помогли ему быстро скрыться. Три конвоира сели в лодку. За ними скакнула собака. На берегу, недолго повертевшись, она взяла след и потянула конвоиров в лес. Пароход стоял больше часа, однако поиски ничего не дали.

Мы уже снова плыли, когда ко мне вдруг подошла Надя. Лицо нашего шкипера было встревожено. Хотя мы были одни, она заговорила шёпотом:

– Миша, он у нас в каюте...

– Кто – он?

– Который с парохода прыгнул... Что будем делать?

Мне такая новость не понравилась. Наверное, хватит для нашей баржи и двух беглецов – меня с Василием. Хотя Бог троицу любит...

И я сказал:

– Надо помочь...

– Согласна... – вздохнула Надя. – А на Васю, не беспокойся, можно положиться. Он тоже не против. Однако мы с ним решили посоветоваться с тобой.

– Спасибо за доверие...

Она повела меня в свою каюту, где возле печки на корточках сидел мокрый, как хлющ, молодой парень. Был он, согласно лагерному стандарту, бледный и очень худой. Ко всему с виду неряшливый и глуповатый.

– Ты прыгал? – строго сказал я.

Парень сжался.

– Как же тебе удалось?

– Конвоир отвернулся... Прикуривал. А лозы нас по рукам хлещут. Я давно ждал этого момента. Пока они останавливали пароход, залез к вам... Помогите! Жизнью отплатчу!

– Как же будем тебя звать? – присел я рядом.

Парень нахмурился. Мне была понятна причина его задумчивости.

– Миша... – наконец тихо сказал он.  
– Тёзка, значит! – усмехнулся я. – Ладно, устроим тебе берлогу.

– Покормите...  
– Не забудем.

Мы дали ему поесть, и я по старому своему опыту упрятал Мишу в тайник за углём.

Просидел он там недолго. Часа через три наш беглец вылез.

– Заметят с парохода! – предупредил я.

– Здесь мне легче... – признался он. – А там, в темноте, так и жду, что вот сейчас войдут и схватят. Да и в вас я не особенно уверен... Вдруг дунете?

Я не оскорбился. Напротив, поразмыслив, решил, что он по-своему прав. За беглеца давали литр спирта или пуд муки, а это немало по здешним меркам. Не всякий устоит перед таким соблазном.

Светлой ночью пришли в Якутск.

У пристани теснились пароходы, баржи и карбозы. Здесь в суете Миша исчез, прихватив наших продуктов столько, сколько мог унести. Добрался он и до старательно припрятанного Надей спирта. От Василия, само собой.

Она расплакалась, но я ничего другого и не ждал. По-моему, всё закончилось даже гораздо лучше, чем могло бы.

Утром мы с Василием подрядились разгружать соседние баржи, а подзаработав, пополнили свои запасы муки, чая и сахара. У меня снова появились деньги, и я соблазнулся сходить в город на рынок: ноги соскучились по твёрдой земле.

Здесь со мной случилось что-то странное... Рынок был огорожен, и мне с первых шагов вдруг отчаянно показались, будто это – западня!! Сейчас заломят руки и потянут в милицию...

Я бросился назад и забился в трюм. Меня ещё долго колотило...

На другой день решился прогуляться по городу ещё раз. И вот вижу на столбе объявление: набирают рабочих. В том числе и электриков.

Я не удержался и пошёл по адресу.

Разыскал нужный дом, поднялся, как и было указано в объявлении, на второй этаж. А там за столом сидит майор в слишком знакомой мне форме. Чего угодно ждал я, только не этого. Сразу стало не по себе.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал майор.

– Вам требуются рабочие?.. – выдал я.

– А какая у вас специальность?

– Электромонтёр.

– Вы семейный или одинокий?

– Одинокий... – вздохнул я и мысленно сказал сам себе: «Прости, Мариночка».

– Вот и хорошо! – обрадовался майор. – Такие нам нужны! Давайте ваши документы.

Я судорожно напрягся.

– А в какое место вы набираете?

Майор широким жестом показал на карту за своей спиной:

– Дальстрой, Колыма. Места там очень хорошие, богатые. А какие заработки на золотых приисках! Уедете оттуда героем Севера! На всю жизнь обеспечите себя материально.

Я заметно вспотел.

– Хорошо, спасибо, только мне надо посоветоваться с невестой...

В этот раз я бежал на баржу значительно быстрее, чем недавно с рынка.

В Якутске мы простояли две недели, а потом была долгая дорога до Киренска, родины Нади.

Плыли весело, сытно. Часто купались. Вода уже потеплела и стала прозрачной. За рекой, сколько глаз видит, тайга и тайга, покрытая лёгкой сизой поволокой. За день только один-два посёлка пададутся на берегу...

Однажды нам предстояло пройти возле маяка самое узкое место с быстрым течением. Пароход остановился, набирая полные котлы паров. Потом он по одной тянул баржи мимо отвесных трёхсотметровых берегов жёлто-красного цвета. Тем не менее порой казалось, что он не продвигается, а шлѐпает плицами на одном месте. Кочегары едва справлялись, чтобы не упустить пар.

Север словно бы не хотел меня отпускать...

Я с ненавистью глядел на угрюмые скалистые берега. Обжившие их птицы кричали так пронзительно, что ничего не было слышно.

Наконец самое страшное осталось позади. Пароход дотянул нас до Киренска. Нам объявили, что дальше баржи не пойдут. Надя и Василий остались в городе. Когда мы прощались, я узнал, что Кирьянова тоже была в лагерях. Она лишь недавно освободилась из заключения и впервые вернулась домой...

Я пошёл в контору за расчётом.

Однако вместо зарплаты мне дали назначение на баржу А-47 до Усть-Кута. Это меня устраивало.

Василий попросил, чтобы я при возможности заглянул в Иркутске к его сестре и рассказал о нём что знаю. Я пообещал, хотя не был уверен, что меня не схватят раньше, чем я смогу выполнить его просьбу.

На новой барже я снова встретился с беглецом Мишей. Он был родом из Махачкалы и тоже пробирался домой. Про спирт и продукты, украденные у нас, я разговор заводить не стал. Колыма позади. Я надеялся забыть про неё, про всё, что было связано с ней.

Но это мне так и не удалось. И, наверное, не только мне.

До Иркутска я мог добраться только пароходом. Ждать его пришлось два дня. Я ждал с билетом в кармане. Денег только на него и хватило, так что ночевал в стоге сена. Когда особенно донимал голод, рыл картошку на огородах, пек её на костре.

Но вот наконец под ногами палуба парохода, и я плыву по Ангаре. На протяжении всего пути мы не раз видели на берегу коренастых, смуглявых парней: пленные японцы.

– Ну что, вояки! – весело кричали им пассажиры. – Хотели нашу землю по Урал оттяпать?! Вот мы и дали вам право на труд до самого Урала! Вкалывайте! Чего-чего, а работы у нас сейчас на всех хватит!

Слышать такое мне было не по себе... В судьбе этих парней я видел и свою.

В Иркутске на Рабочей улице без проблем разыскал Васину сестру Ирину. Кажется, она только что плакала. По крайней мере, вид у неё был именно такой.

Я рассказал про наше с Васей плавание, и снова начались слёзы.

Наконец я понял, что эта женщина плачет над своим горем и только ждёт, когда я закончу, чтобы поделиться им.

– У вас есть жена?... – спросила Ирина, нервно покачивая люльку.

– Маринка... – сказал я.

– А дети?

– Есть.

– Спасите меня! – неожиданно вскрикнула она. – Ах, что же делать? Хоть вешайся... Во время войны я получила похоронку на мужа и со временем сошлась тут с одним... Он завскладом, а мне самой с тремя детьми ох как трудно! Теперь узнаю: муж жив! Недавно приехал... А у нас с этим ребёнок... Вот вы мужчина: рассудите!

Я был готов заплакать вместе с ней: представил на её месте себя и Маринку. Кто знает, возможно, у нас всё будет ещё сложнее. Так что мои слёзы впереди...

Ничего не посоветовав Ирине, я ночевал в сарае. Мне было хорошо и уютно.

Утром отправился в город насчёт работы: ведь денег на дорогу не было.

Позвонил в электроцех мясокомбината. Скоро ко мне вышел главный энергетик, повёл с собой, угостил колбасой. Кажется, он увидел во мне неплохого специалиста. Назавтра по его записке меня без особой волокиты оформили в отделе кадров, выдали двести пятьдесят рублей аванс и определили место в общежитии. Комендант предупредил меня, что надо прописаться в трёхдневный срок.

Я, сколько мог, оттягивал, но он раз за разом напоминал. А потом вдруг прямо заявил:

– Сегодня без отметки в паспорте не пушу на порог!

Как в тумане пошёл я в милицию. Поднялся по ступенькам...

Вот и дверь, которая мне нужна. Да только слышу рядом в кабинете крик:

– Признавайся во всём!! Посажу, сволочь!

Я обомлел: столько рисковать, столько сил потратить, чтобы вырваться с Колымы, а сейчас самому лезть как кролику в пасть удава?

Тут не дураки сидят. Малейшее подозрение – и я схвачен. Куда меня черти несут?!

Из милиции я напрямик пошёл на вокзал.

В это время как раз подоспел «пятьсот весёлый» – так называли товарняк, которым ездили те, кому не удалось достать билет на пассажирский поезд.

Я залез в первый попавшийся вагон.

Красноярск, Омск, Челябинск, Курган...

Дорога была голодная, – у меня украли последние деньги. Так что когда я однажды среди ночи нащупал в чужой корзине хлеб, а в горшочке свиной смалец, руку сдерживать не стал. Да и не сдерживать было её. Итак, я потихоньку съел весь хлеб и половину сала.

Утром поднялся шум. На меня все стали коситься, а в конце концов решили ссадить с поезда. Я расплакался, и это помогло. Народ притих. Кто-то даже сунул мне в руки шмат сала.

Поезд словно потянул быстрее!

Наконец добрались до Мичуринска. Здесь пересадка на Воронеж, но поезд на родину ждать двенадцать часов.

От греха подальше я ушёл ночевать в степь. Вдалеке увидел костёр и побрёл на огонь. Тут-то и напали на меня собаки. Будто лагерные псы наконец достали беглеца. Не хватало только того, с золотыми зубами.

Я отбивался от них кулаками и ногами, пока не подбежали два пожилых цыгана.

– Зачем, добрый человек, пришёл к нам?

– Заблудился...

Они накормили меня, положили ночевать у костра, а утром дали немного денег.

В Воронеже я был на другой день.

На последние два рубля побрился в привокзальной парикмахерской, отстирал рубашку, но всё равно чувствовал себя неудобно. Многие здесь знали меня. Ото всех вовремя не отвернёшься. Так что уже скоро встретилась знакомая раздатчица из наших вагоноремонтных мастерских, теперь ставших заводом имени Тельмана.

– Ох, Алёшка?!

А я и забыл это имя: Михаил да Михаил. Хисматов

к тому же. Стал им по-настоящему, сроднился. Алёшка же Данильченко будто бы пропал невесть куда. Наверное, по-прежнему мается в лагерях. А на воле вольной Хисматов.

– Как же у тебя жизнь сложилась!.. – и заплакала.

Я понял, что тоже сейчас заплачу, и негромко завёл родную мне песню про бродягу, бежавшего с Сахалина. Это помогало останавливать никчёмные слёзы.

– А ты ещё и поёшь?.. – обняла она меня. Я уже и забыл, что такое женские руки и тепло.

– Могу даже станцевать... – нервно усмехнулся я.

В тот же день мне повезло оформить электромикром в гараж экскаваторного завода имени Коминтерна. Мне выдали хлебную карточку. Это было хорошее подспорье. На рынке буханка мякины стоила сто двадцать рублей.

К вечеру я снял неподалёку угол в подвальной комнатке. Раньше в ней располагалась кочегарка. Стойкий запах угля напомнил мне пароход «Миронич». По тому времени моё новоселье в любом случае было удачным. Город стоял в руинах и с одного конца до другого просматривался насквозь. Моё окно, между прочим, выглядывало из-под земли на здешний острог.

Я стал писать в Уссурийск одно письмо за другим. Месяц за месяцем... Само собой, письма сочинял конспиративные, от имени Хисматова. Конечно же, открытым текстом в них ничего не говорил.

И всё равно понимал, что навожу на себя органы, но остановиться не мог.

А по ночам выл от ужаса: то гонятся за мной во сне конвоиры, то псина золотозубая рвёт.

И всё же это была свобода. Пусть и зачья.

Год прошёл, другой начался, а ответа от жены не было. В конце концов, стало казаться, что я вообще никогда его не получу...

А однажды подошла ко мне рассыльная директора завода:

– Товарищ Хисматов! Вас на проходной ждёт какой-то военный!

Я точно ростом ниже стал. Просто-таки от горшка два вершка. Так бы в какую щель и забился.

«Шалишь, брат! Я воробей стреляный! – пронеслось в голове. – На, бери меня!»

Прихватив инструмент (пригодится зарабатывать на жизнь в бегах), я бросился к забору и перемахнул на ту сторону.

Теперь куда?.. Я огляделся и вдруг отчаянно почувствовал, что нет больше сил скрываться...

И тут потянуло меня посмотреть, какой такой военный заинтересует меня. Подкрался со стороны улицы к проходной, приник к окну, но стекло

оказалось мутное. И толком разглядеть ничего не удалось. А тут знакомый слесарь идёт с завода.

– Что за мужик отирается у вертушки? – спросил я.

– Офицер вроде.

– Танкист? – хитрю.

– Нет, госбезопасность.

И показалось мне, что ещё немного и я сам из себя выскочу, сам от себя спрячусь.

– Он за тобой! – добавил слесарь. – Чего ты здесь топчешься? Ему свет надо подвести к дому. Человек только из Германии приехал!

Я со всех ног бросился за когтями.

В этот день я заработал пятьдесят левых рублей и распил бутылку янтарно-смуглого коньяка «Ереван» с майором госбезопасности, «смершем». Коньяк был хороший, крепкий, пятидесяти семи градусов, но настроение поднял ненадолго. Я всё время думал про Маринку и свои безответные послания. Всё время мысленно искал такие слова, чтобы жена на них наверняка ответила. В общем, так забил себе голову, что однажды попал в гараже под высокое напряжение и две недели отлежал в больнице.

В это время и пришло первое письмо от Маринки.

«Здравствуй, родной мой котик! – писала она. – Не думала и не гадала, что ты жив и ищешь свою семью. Считала, что нет тебя уже в этом мире. Скажу правду: я вышла замуж. Если ты меня простишь, прилечу к тебе на крыльях! У меня дом из четырёх комнат, крыт железом, потом же корова. Только всё продам, соберу тысяч тридцать и приеду!»

Я побежал на почту и дал «молнию»: «Немедленно собирайся выезда Воронеж». В тот же день стал заготавливать уголь, дрова. На последние деньги купил подержанный габардиновый костюм, фетровую шляпу, притащил к себе из соседских развалин ещё одну кровать, чудом уцелевшую там, – никелированную, с двойной панцирной сеткой.

Однако с тех пор от Маринки целый месяц не было ни строчки.

Я волновался, и какие только мысли не лезли мне в голову: не состоялась моя воля! Я ведь бежал к семье. Значит, мой срок продолжается? Выходит, что так, только ни один прокурор этого не зачтёт.

Начал писать ей каждый день. Несчётное число раз тратился на телеграммы. И в конце концов как вырвал у неё ответ. Однако он неприятно настроил меня своей краткостью: «Нашла покупателя! Целую тебя несчётно, родной мой!» А чуть позже пришла от Маринки новая весточка, после которой у меня окончательно опустились руки: «Зачем мне бросать живое и искать мёртвое? Слёз я и так пролила немало. Если мы с детьми тебе нужны, приезжай к нам сам. Ты без хозяйства, продавать тебе нечего. Снимешься налегке.

Это моё твёрдое и последнее слово. Целую тебя, любящая Маринка».

И я как пьяный пошёл к начальнику милиции с заявлением, чтобы мне выдали разрешение на въезд к семье в Уссурийск.

– Виза будет дней через двадцать. Раньше не надоедайте! – сказал он.

– А почему так долго?! – до наглости осмелел я.

– Будем делать необходимые запросы, наведём справки. Для этого потребуется время.

– Мне надо ехать немедленно! Или никогда! – нашёлся я и забрал назад своё заявление.

Одним словом, и рада бы душа в рай, да грехи не пускают.

А на следующий день меня арестовали.

Утром подошёл завгар и как ни в чём не бывало сказал:

– Хисматов, тебя вызывает начальник отдела кадров!

Атанда!!! Я почувствовал неладное, но почему-то ничего не предпринял. Слово последняя живая жила уже давно лопнула во мне. Даже увидев в отделе кадров двух военных в лётной форме, я упёрто не повернул назад. Хотя они разговаривали между собой и поначалу не заметили меня. Ещё можно было попытаться бежать.

Вместо этого я с какой-то непонятной головокружительной смелостью подошёл к ним и спросил как ни в чём не бывало:

– Начальник кадров у себя?

– А как ваша фамилия? – вдруг спохватился один из «летунов».

– Хисматов.

– Документы!

Я подал пропуск.

– Вы арестованы! Руки в гору! – радостно вскрикнул второй.

Странно, но эти слова несколько не испугали меня. Наоборот, я почувствовал что-то вроде облегчения...

У проходной завода нас ждал «воронок», а возле него овчарка величиной с телёнка. Я машинально глянул на клык: нет, у этой они были не золотые.

Меня повезли в управление. Однако искорка надежды ещё оставалась: не так-то легко доказать, что я совершил побег. Мне не раз приходилось слышать, будто бежавших с Колымы на Большой земле не разыскивают. Считалось, что пробраться северным энкам на материк невозможно.

Однако мне вскоре предъявили такие документы, какие крыть было нечем. Они знали, что я бежал в мае сорок шестого, прибыл в Воронеж в октябре, а потом долго переписывался с женой. Им было известно, как я жил и работал. Не брали, проверяя, не

стоит ли за мной какая-то конспиративная политическая организация... Слишком невероятное я совершил по всем лагерным меркам.

Через час меня отвезли в КПЗ.

В камере я сгоряча хотел повеситься.

Только вспомнил цыганку, нагадавшую мне впереди волю вольную, и решил попытаться жить наперекор всему. На десятый день был сформирован этап, и нас по улице Мира повели на вокзал. В тупике ждал вагон. За нами шла толпа чужих родственников и друзей.

Когда поезд прибыл в Краснодар, меня после карантинной камеры на четвёртые сутки перевели в режимную тюрьму. Несмотря на мой богатый стаж, я в такой образцово-показательной оказался впервые: баня с парной, чистые постели, еда не хуже домашней, а ко всему каждый день анализы и оздоровительные процедуры.

Тому, кто хотел, давали книги, шахматы, домино. Однако лестничные пролёты всё же были затянуты надёжными металлическими сетками, чтобы никто из заключённых не мог покончить с собой, бросившись вниз.

Надзиратель вёл меня по коридору под руку и всё время чётко говорил: «Чи-чи-чи!» Это затем, чтобы встречному арестанту вовремя накрыли голову или поставили его с закрытыми глазами лицом к стене.

В моей пятнадцатой камере было всего четыре койки. Только я сел на одну и, задумавшись, прислонился к стене, как надзиратель открыл волчок и прошипел:

– Облокачиваться запрещается! Садиться и ложиться на кровать до отбоя запрещается! Спать с двадцати трёх часов до пяти утра!

Я долго ходил по камере, стараясь преодолеть дремоту.

И вдруг, забывшись, машинально навалился на грядущку. Тотчас открылась дверь и вошёл дежурный офицер:

– Почему нарушаете режим? Вам уже было сделано одно предупреждение!

Он записал мою фамилию в блокнот. Я понял, что могу оказаться в карцере.

Но вот наконец отбой...

Я только заснул, как надзиратель процедил в волчок:

– Кто тут на букву «Д»?

И меня снова повели под руку как барышню. На этот раз в следственный отдел.

Кстати, в здешних коридорах везде постланы ковровые дорожки, чтобы заглушать звуки шагов. Так что почти абсолютная тишина была одной из отличительных черт этой тюрьмы.

– По какой статье арестован первый раз? – напориристо взялся за меня следователь. – В твоих интересах отвечать правдиво!

Я сидел перед ним на привинченном к полу табурете и, как положено, держал руки на коленях.

– Статья 54-10!

– 58-10! – прикрикнул следователь. – Где отбывал наказание?

– На Колыме. В Орутуканском ОЛП.

– Позже ты был арестован ещё и по статье 58-14, часть 1. Признаёшь себя виновным?

– А за что по этой статье судят? – прикинул я незначкой.

Следователь раскрыл Уголовный кодекс.

– Контрреволюционный саботаж!

– Не знаю за собой такого...

– Тогда придётся тебе ещё раз длительно отдохнуть на северах! – усмехнулся следователь и нажал кнопку.

В камере я только успел заснуть, как меня опять сдёрнули на допрос. Он продолжался на этот раз часа три, и только под утро перед самым подъёмом меня отпустили обратно.

Это был изнурительный метод, и мало кто долго выдерживал его. Правда, я приспособился. Надзиратель не приглядывался, кто из нас на допросе. Так что я забирался под койку, завешивался одеялом и спал.

Через два месяца следователь «убедил» меня, что я никогда и никому не докажу, будто освобожден на законных основаниях. Ничего не оставалось, как рассказать ему всё, как было.

На душе стало свободнее, словно у верующего после исповеди. Наконец я нашёл человека, с которым мог поделиться моими тайнами. Не важно, что это был следователь. Но слушал он мою исповедь с таким вниманием, с каким, наверное, не смогла бы и Маринка. Мы наконец хорошо поговорили, и оба остались довольны друг другом.

Это было в начале июня сорок седьмого года.

С бодрым настроением повёл меня следователь к начальнику отдела.

– Вы хотели видеть Данильченко? Вот он собственной персоной!

– Так откуда ты бежал? – до странного уважительно спросил тот.

– С Колымы.

– Так, так. Подойди ближе! Это не ты в сороковом году на штрафной написал лозунг «Долой рабство в СССР»? Вспомни меня!

Я присмотрелся.

– Плачут по вас черви! Кислицин?!

– Памятливый! – засмеялся начальник отдела.

– Так как же ты сумел бежать, левобухаринец

правотроцкистский? Ведь оттуда, сколько я там ни был, ни один зэк не смог выбраться. Тысячи пытались, но где они?

Я чуть ли не с гордостью объяснил Кислицину, каким путем ушёл с Колымы. Он внимательно слушал, а потом вдруг порывисто схватил моего следователя за руку.

– Ты хоть представляешь, Захаров, откуда он утёк?!

– Да так, немного...

– Ни хрена ты не представляешь!

Кислицин подвёл его к карте и указал место, откуда я бежал, и мой путь.

– Здесь сплошная тайга, горы, реки! Расстояние – двенадцать тысяч километров! За сколько же ты добрался? – с восхищением спросил меня Кислицин.

– За три с половиной месяца.

– Такого героя вижу впервые! Вынослив ты был. Сейчас, наверное, при всём желании уже не хватит сил?

– Если потребуется, найду...

– Такое не повторяется! – заспорил Кислицин.

– Ещё скорей приду! – завёлся я.

– В таком случае придётся тебя заслать куда подале! – улыбнулся Захаров.

– Гражданин начальник! – вскрикнул я. – Убедительно прошу вас пересмотреть моё дело. Вы увидите, что я не потерянный человек. Я люблю родину, труд, семью. Подайте мне руку помощи! Так хочется жить по-человечески...

– Пересмотрим... – сказал Захаров. – И добавим тебе семьдесят вторую за подделку документов.

– Не толкайте меня в пропасть... – сдержанно проговорил я. – За мной нет никакой вины! Лучше помогите. Я там больше не выживу...

Кислицин нахмурился.

– Одно могу обещать, Алексей Павлович: ваше старое дело мы пересматривать не будем. А за побег дополнительно судить придётся. Извиняй...

Через два дня у однорукого прокурора Алексеева я подписал двести шестую статью об окончании следствия. Он оказался в хорошем настроении, и я разговорился с ним:

– Зачем меня мучают? Я никакой не враг народа!

– Рад бы тебя освободить... – прокурор махнул в сторону двери своей единственной рукой. – К тому же ты у нас внеплановый. А дел тут и без тебя непочатый край. Но – побег!

Он распахнул окно. На улице тихо, тепло... Сладко цветёт белая акация... Вдохнув её аромат, я уныло запел:

*И вот позднею весною  
Сиреневые ветки зацветут,  
А меня замёрзлой Воркутою  
По этапу скоро повезут...*

– Не рви себе душу, Алексей Павлович... – вздохнул Алексеев. – Срок дадим тебе детский. Не больше десяти лет. В лагере будешь на свежем воздухе. Устроишься поближе к кухне. Ты арестант опытный.

Однако в лагерь я попал нескоро. Верховный суд вернул моё дело на переследствие. В приговоре оказалась ошибка. Там написали, будто я бежал в мае пятидесятого года, а задержан в марте сорок шестого...

В конце концов меня обвенчали.

На этот раз я всего за пять минут получил свои десять лет строгого режима. Хотя слышал, что другие «тройки» показывали и более высокий результат. В этом деле, как видно, тоже имелись свои стахановцы.

– Граждане судьи! – сказал я в последнем слове. – Моё образование всего три класса начальной школы. Я из крестьян. Спасибо нашему фельдшеру Руженцеву, что он меня по доброте сердца для жизни подготовил: азам физики да химии и ремёслам разным обучил. Самое главное у меня – жена и дети. Сегодня вы покарали человека не разобравшись, и это вам аукнется!

Из тюрьмы на пересылку я попал только в ноябре. Здесь после обыска меня поместили в одну камеру с уркаганами.

– Люди есть?! – на их манер подал я воровской клич, не дожидаясь, пока надзиратель закроет за мной дверь. Так положено. Мол, знайте, что я далеко не новичок в здешних краях.

– Иди сюда! За что, керя, и какой срок? – слез с нар здешний честняга.

Выслушав мой ответ, воруга нагло показал свои знавшие цингу мёртвые зубы:

– Не найдётся ли чего похавать?

– Сидор мой пуст, – как можно спокойней ответил я.

– Дай сюда...

Он порылся в нём и с ходу нашёл две полбуханки засохшего хлеба. Перед этапом товарищи по камере хотели дать его мне на дорогу, но я отказался. На весь срок не напасёшься, и надо привыкать жить на одной пайке. Выходит, они тайком всё-таки подложили его в мой мешок.

*Из каптёрки пайка показалась.  
Не поверил я своим глазам,  
Шла она, к довеску прижимаясь,  
А всего-то в пайке 300 грамм!*

– зажмурясь, пропел какой-то из здешних чумовых.

– Что же ты такой существенный товар гноишь?! – шакалами подступили урки. – А ещё говорил, что старый арестант! Отпыхтел не меньше нашего... Да мы тебя сразу срисовали, политик вшивый... Воспалением хитрости страдаешь? Здесь люди поумнее твоего будут.

Они стали толковать: как быть со мной?

Честняга с вывертом снял с шеи свое шёлковое оранжевое кашне. Я всё понял и ударил его сапогом. Мне заломили руки, но пока набрасывали удавку, я успел изо всех сил закричать трёхэтажным матом.

– Прощевай, падлючье мясо! – взвизгнул пахан, хватко затягивая на моём горле своё кашне.

В это время дверь камеры открылась, к нам гурьбой ворвались надзиратели.

...Уголовников отправили в карцер.

Два дня я не мог смотреть на хлеб.

И снова знакомая дорога...

Впереди – Вятлаг, барак с заиндевелыми окнами, лозунг на воротах «Труд в СССР дело чести, дело доблести и геройства!», а позади – горькая секунда чистой воли. И всё же какая-никакая, а отдушина...

– Эх, в рот пароход!.. – бодро встретил наш этап контриков лагерный врач по кличке Помощник смерти. – Не захотели на свободе белый хлеб кушать, теперь будете дерьмо хлебать!

Сам он тоже был из политиков – после революции работал с учёным Иваном Павловым, и они оба с отвращением относились к социальным экспериментам большевистской партии. В итоге он достойно заслужил 58-ю статью, а вот Павлова взять не посмели, хотя он, не без влияния Помощника смерти, ещё до войны направил в адрес СНК письмо. Однажды оно, переписанное от руки, попало в лагере и ко мне. Я навсегда запомнил из него такие строки: «Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по культурному миру революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только политическим младенцам Временного правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим Октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас, и, конечно, ввремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались Вы, – террор и насилие. Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, что делается у нас, и что, по моему мнению, грозит серьёзной опасностью моей Родине».

В столовой нам дали по миске пустой баланды (хорошо ещё не в наши шапки-колымки плеснули) и налили какое-то зелье с иван-чаем. Мы ели, осторожно поглядывая, как неподалёку возле железной дороги в кювете с ледяной водой понуро стоит ослушавшаяся конвой бригада...

В бараке, как только за нами закрыли дверь, сразу почувствовалась блатарская власть.

Погас свет. Заиграла гармошка, и нас, врагов народа, под звуки «Мусеньки» уркаганы принялись тщательно шерстить: вывернули мешки, посняли хорошие шапки.

Меня, как бывалого арестанта, на этот раз не тронули, а только предложили сыграть в карты на моё чёрное драп-велюровое пальто. Я отказался. Оно было мне дорого. Я купил его на воле из последних денег, готовясь к приезду Маринки.

Однако вскоре я всё-таки расстался с ним. Дней через несколько подошёл ко мне здешний энергетик и словно невзначай сказал:

– Продай пальто... А то я на днях освобождаюсь. Хочется поприличней одеться.

– Снявши голову, по волосам не плачут, – вздохнул я и скинул пальто.

Он дал мне триста рублей, а на следующий день с его подачи я уже обслуживал на электростанции генератор. Вся работа была в том, чтобы время от времени проверять нагрев и поглядывать на приборы. В бараке мне отвели приличное место на верхней полке с постелью и одеялом. А на вырученные деньги я ещё долго покупал в ларьке хлеб и яблочное повидло, так что по вечерам регулярно пил сладкий кипяток.

Одним словом, я обжился. И меня от прилива сил потянуло на разные чумные дела. Их лагерный набор невелик. Первая забава здесь такая, чтобы в список на получение посылок вписать под липовым номером фамилию какого-нибудь доходяги. Этим, правда, в основном потешали себя уголовники. В общем, бросится горемыка из последних сил за «витамином це», а потом – слёзы. Некоторые слабосильные, бывало, вешались через такую потеху. Если им уж слишком натурально примерещится фанерный ящик, сполна набитый салом и сухарями. Да ещё на дне – письмо!

Я устроил веселье по-другому. На зоне валялось много стеклянных банок из-под овощных консервов. Обратив на это внимание, я написал объявление, что в парикмахерской только один день срочно принимается стеклотара по цене пятьдесят копеек за штуку.

Чуть погодя некоторые зэки стали собирать банки, мыть и нести по адресу. А парикмахер был из воров, с характером. Только одного вытолкает

взашей, но ещё не успеет приступить к работе, как другой громыхает с мешком.

В конце концов возле порога выросла куча банок. В довершение ко всему парикмахеру дали кличку «Принимай банки». Хорошо, что ему так и не удалось допытаться, кто написал объявление.

Однажды мне надо было задержаться на работе, и мы остались один на один с конвоиром.

– Ну что, Данильченко, – вкрадчиво сказал тот, – между нами: когда снова думаешь бежать?..

Я покосился на него:

– Глупый ты задал вопрос! Такое самому ближнему другу нельзя доверять. А с чего ты взял, что я хочу бежать?

– Собрание сегодня было. Только о тебе и говорили. Ты – ловкач! Вроде даже гипнозом обладаешь... Можешь влиять на людей!

– Насчёт этого не знаю... – усмехнулся я. – Но если будет невыносимо, тогда действительно никакие запоры вам не помогут! Я люблю волю, а она меня ещё больше.

Конвоир вздохнул:

– Если потянет в бега, не делай этого на моём дежурстве... Договорились? И так у меня неприятности по службе. А если в чём будешь нуждаться, скажи прямо – я достану!

И мы с ним закурили его махорки.

Вскоре я укрепил о себе мнение как о человеке, который в самом деле способен гипнотизировать. В лагере ведь были не только грабежи, резня и побег. Были и разные там кружки самодеятельности. Только пели в них и танцевали не ради славы, а чтобы лишний час побыть подальше от параша.

Я выступал с фокусами, которым меня научил в своё время Лев Максимович. А кое-что и сам придумал-сгондобил. Мой коронный номер назывался «Сыграть в деревянный ящик»: даю надеть на себя наручники, ложусь в сундук, который накрывают крышкой и надёжно заколачивают гвоздями. Мало того, его обвязывают цепью и замыкают её на амбарный замок.

Ассистент вызывает на сцену какого-нибудь оперативника:

– Ваша задача внимательно смотреть, чтобы зэк Данильченко не сбежал из карцера!

Сундук на блатарском жаргоне и есть карцер, да ещё без окошка.

Оперативник на виду всего зала самодовольно садится на него.

– У меня не сорвётся... Я не ломом подпоясанный! – подмигивает он жене, сидящей на первом ряду, и важно поправляет портупею. – Стрелять буду без предупреждения!

И тогда мой ассистент обращается к зрителям:



– Сколько времени дадим лагерному Гудини, чтобы он незаметно ушёл из ящика?

– Хоть час! – весело, шумно кричат в ответ.

– Нашему маэстро достаточно и пяти минут! – объявляет ассистент, предвкушая послеконцертную гонорарную пайку хлеба.

Зал напряжённо ждёт.

Наконец с ящика снимают запоры, и изумлённые зрители видят там совсем другого ээка. А я в это время иду по проходу к сцене...

Фокус предельно прост, но впечатление производит. Надо сказать, администрация лагеря безотказно помогала мне сделать приспособления для него. Как ни странно, на воле я ни в чём такого внимания никогда не встречал, если проявлял инициативу хоть по работе, хоть в заводской самодеятельности: сплошные формальности, волокита, лень...

При всём при том режим оставался режимом. Каждый день проверки и обыски. Особенно перед большими праздниками.

Ночью врывается в барак человек десять охранников, раздевают нас догола и переворачивают всё на нарах вверх дном...

В начале марта пятьдесят третьего по лагерному радио передали сообщение о болезни Сталина.

В этот день у всех ээков было праздничное настроение. Приёмщики удивлялись – норму перевыполнили даже доходяги. Оживилась и «слабосилка» – три барака, где лежали те, у кого уже не было мочи выходить на работу. Их по возможности подкармливали. Они получали «усиленное» питание: по двадцать пять граммов сливочного масла. Но от этой порции, как водится, половину отнимали, начиная от кладовщиков и до дневальных с санитарями. Так что люди в «слабосилке» умирали как мухи. Даже примета такая была: смотришь, кто вдруг начнёт в столовой чужие миски подлизывать, так через неделю, от силы через две врежет этот арестант дубаря... В «слабосилку» попасть было непросто. Это делалось через комиссию по ходатайству бригадира, врача, старосты, нарядчика и за подписью начальника отделения. Комиссия приезжала в лагерь раз в месяц и редко кому успевала помочь...

В тот мартовский день после ужина, увидев врача, ээки плотно обступили его. Но никто не просил освобождение от работы. Нас волновало другое.

– Ты, доктор, скажи: подойдет Сталин или нет? – раздалось из толпы.

Помощник смерти смутился.

– Согласно диагнозу... Насколько позволяет мне судить мой прежний опыт... Потом же в молодости работа с Иваном Петровичем Павловым и Владимиром Михайловичем Бехтеревым... Да, скорее всего должен умереть...

И тогда один из паханов, нагнувшись к нему, глухо заметил:

– Смотри, доктор, если он выживет, мы тебя задавим.

– Уверю вас, Иосиф Виссарионович умрёт... – побледнел врач.

И Сталин умер.

В лагере не умолкало радио. Постоянно звучала траурная музыка.

Однако я не видел ни одного арестанта с унылым лицом. Лагерное начальство вдруг стало с нами вежливей... Все ждали изменений.

После расстрела Берии мы были уверены в их неотвратимости.

Даже стали надеяться на освобождение.

И амнистия была. Только коснулась она в основном уголовников.

Где-то одну треть их выпустили, остальным сбавили сроки наполовину...

В июне пятьдесят четвёртого к нам в лагерь пригнали под сотню посученных воров. По всему «пятьдесят восьмую» теперь ждал их блатарский террор. По крайней мере, так было всегда, пока в политических числились «контрики-троцкисты» – интеллигенты, быстро попадавшие в разряд доходяг или в покойницкую «слабосилку».

Только сейчас, после войны, в лагерях собралось немало фронтовиков и тех, кто испытал на себе, что такое фашистский концлагерь.

– Братва! – сказал Иван Рябой, бывший полковой разведчик, которого в сорок пятом представили к званию Героя, но потом по доносу награду наскоро заменили лагерем. – Мы отлично знаем, что такое ворьё! Только от нас зависит избавиться от них. Эти выродки берут верх тем, что они организованны. Так сплотимся и мы! Вышвырнем подонков из лагеря! Иначе всем нам хана.

После ужина он подал сигнал: пронзительно засвистел. Мы вмиг разломали возле столовой штакетник.

Воры неподалёку играли на траве в карты. Раздалось фронтовое «ура!». И вот уже они летят вверх тормашками. Кто-то из блатарей бросился к проходной, кто-то в запретную зону. Их били повсюду.

У ворот блатные опомнились:

– Нас мочат фраера! Покажем им, кто мы такие!

Сверкнули ножи. Но сила солому ломит. В воров полетели камни, поленья. Нас было человек семьсот. Под нашим напором упали ворота, и воры бросились за зону. Здесь их оцепил поднятый по тревоге конвой.

Трое суток они сидели под пулемётами, а потом их куда-то увезли.

В лагерь приехал прокурор. Кое-кого из нас вызвали на допрос, но тем разбирательство и ограничилось.

Работяги почувствовали себя победителями. За углами начались разговоры о восстании. Решили обезоружить охрану. На такое дело вызвались в основном «изменники Родины». С их сроком – двадцать пять лет – человек невольно становится запредельно отчаянным.

Старшим группы захвата выбрали Фетисова – он в войну в полковой разведке служил. Мне поручили завладеть автоматом конвоира, который в ночную смену часто заходил подремать в мою агрегатную. Затем я должен был передать это оружие другому, а уже он с его помощью добудет ещё четыре ствола. Ночью назначили нападение на казарму охраны в посёлке, а в случае удачи решили двигаться на другие лагеря. При провале – уйти «партизанить» в здешние леса.

Оставалось выбрать день и час.

Как-то после отбоя меня вдруг разбудил Иван Волков из нашей группы захвата:

– Припрячь на время ножи...

И суёт свёрток.

Мне стало не по себе. То были разговоры, а это уже действие.

И тут что-то случилось со старым лагерником и убеждённым беглецом. Прогнулись мои колени...

Я отодвинулся.

– Ваня, как хочешь, только взять ножи я отказываюсь... Ради бога, избавь меня от этого! Мочи нет...

Он растерялся.

– Смотри, доложу Фетисову!..

Не знаю, кому он доложил, но через три дня меня вызвал «кум»:

– Нам до мелочей известна затея с восстанием. Я ничего не буду от тебя допытываться, Алексей Павлович. Скажу одно: в годы войны ваш якобы фронтовой разведчик Фетисов на самом деле работал шофёром «душегубки» при немецкой тюрьме. Вот документы, которые подтверждают это. Подумай своей глупой головой, за кем ты решил пойти! И зачем? У тебя осталось всего пять лет. А по сегодняшней обстановке вполне вероятно, что ты вообще скоро освободишься. Тебе нужен новый хомут?

Козе ясно, что нет. Но в бумаги чекиста я не поверил. Ведь смогли же они и меня, работягу, записать в своё время во враги народа. Так что стал я почти на двадцать лет, по словам Молотова, «временно задержанным». И ко всему не раз за эти годы мог получить свои «семь копеек». Столько тогда стоила револьверная пуля.

– Ступай... – вздохнул «кум». – И думай наперёд своей арестантской башкой!

Само собой, он так поговорил не со мной одним. К тому же и бывшие коммунисты из лагерников выступили против восстания.

Они по этому поводу не раз собирались в домишке у здешнего лесовода-латыша. Конечно, такие сходки были нелегальными.

Приглашали на них и меня.

Там вспоминали Ленина, пели вполголоса «Интернационал».

Эти люди убеждённо верили, что хаосу беззакония и произвола в стране долго не продержаться, что найдутся в ЦК люди, которые во всём разберутся.

И восстание отложили. Никто не хотел большой крови.

Как-то уже в декабре я зашёл вечером в контору к начальнику лагеря подписать требование на электрооборудование.

В коридоре ко мне подбежал знакомый нарядчик и ударил по плечу:

– Алексей Павлович! Где ты ходишь? Тебя битых два часа ищут! Дуй в спецчасть! На свободу оформляться!

– Не валяй дурака... – задохнулся я.

Нарядчик взял меня под руку и чуть ли не силой потянул в зону.

– Это тот Данильченко, которого освобождают? – сказал на проходной вахтёр.

Я побледнел.

Когда пришли, то начальник спецчасти, старший лейтенант, достал из сейфа какую-то невзрачную серую бумажку и самым обыденным голосом прочитал:

– Данильченко Алексей Павлович. Он же Хисматов. Одна тысяча девятьсот седьмого года рождения. Статью 58-14 отменить. Из-под стражи освободить.

– Теперь иди в охрану, там тебя сфотографируют, – подсказал нарядчик. – И не забудь взять обходной листок!

– Распишись! – начальник спецчасти подал мне журнал. – В трёх местах.

– Не могу... Руки отнялись, – тихо сказал я и закрыл глаза...

– Радоваться надо, а он плачет!.. – усмехнулся нарядчик.

Так и получился я на последней лагерной фотографии со слезами на глазах.

Товарищи по традиции собрали мне деньги на дорогу. В кладовой выдали сухой паёк.

В полночь я и ещё семеро ошалевших счастливых отправились под конвоем на полустанок. Ехать нам было в Камск на пункт освобождения.

Шагаем жадно, запалив солдат – «пастухов» на лагерной фене.

Бодро трещит под нашими ногами мёрзлый снег. Луна в пустом небе, как в одиночке.

Наконец за деревьями увидели по-зимнему тяжёлый пар «овечки».

К заветному вагону бежим задыхаясь. Но здесь вдруг выясняется, что мест уже нет. Нас опередили: последние дни реабилитация шла полным ходом.

В общем, наш конвой поругался с конвоем вагона-зака.

– Вятские лапти! – громынуло в ночи во всю мощь. – Сажай, так-перетак, по-хорошему!!

– Свали! Битком у нас!! – пыхнуло в ответ из тамбура.

– А вот мы сейчас проверим! Найдём свободное место – вам не поздоровится!

– Проваливайте, проверяльщики хреновы! В носу не кругло нас проверять?!

Мы в свою очередь униженно просим взять нас. Сколько лести вдруг обнаружилось в арестантских матерщинных голосах...

Однако ничто не помогло.

...И вот бредём обратно.

Никогда ещё не была для меня так трудна дорога в лагерь. Шёл из последних сил. Мгновениями казалось, что сейчас упаду и больше не поднимусь.

Вообще, я почему-то с той ночи стал мрачно уверен в своей близкой смерти. Как видно, живым выйти мне отсюда не суждено. К этому всё идёт...

...На следующую ночь нас снова повели вчерашней дорогой.

Только теперь мы оказались среди первых. Вскоре подтянулся паровоз с двумя старыми, тёмными вагонами.

Принимали по формулярам и рассаживали согласно здешним неписаным правилам: по лагерным сословиям. Воров-законников в одну клетку, посученных – в другую, а политических определили вместе с работягами. В четвёртой клетке сидели женщины.

В конце вагона мёртво горела свеча фонаря...

Наконец наш экспресс тронулся: заскрипел, як дяткив воз, и покатился. Вагон стало кидать из стороны в сторону.

Что ожидает меня впереди?..

Я задумался. Вопросов было слишком много...

Когда прибыли на место, за паровозом уже лязгал целый состав из десяти вагонов. Нас построили, посчитали и повели в лагерь для освобождающихся. Это небольшая зона, но обнесённая высоким забором с колючей проволокой, наклонённой на обе стороны.

У всех кандидатов на свободу было хорошее настроение. У меня – отвратительное. Я почему-то окончательно перестал верить, что когда-ни-

будь выйду отсюда. Бывали ведь случаи, что отвезут арестанта на пункт освобождения, а через неделю он снова в лагере. И срок увеличен. Так получилось с моим другом Володей Бабенко. Когда его возвратили обратно, он неделю не ел и голода не чувствовал. Только что там с ним произошло – никогда не проговорился.

Между прочим, лагерные собаки при его появлении стали с ума сходить: воют, давятся хрипом. Однажды чуть не разорвали Володю.

Хорошо, что нашлись смельчаки и, не пожалев свои арестантские бушлаты, отбили парня.

Вечером в нашем бараке поставили длинный стол, разложили на нём формуляры. Начала работать комиссия по освобождению. Стали вызывать лагерников по одному и подолгу уточнять личность каждого, чтобы кто-то не подставил себя за другого.

Подошла и моя очередь.

Снова пришлось как «Отче наш» повторить фамилию, год рождения, статьи.

– Откуда родом? – бдитительно пыталась комиссия.

– Слобода Велико-Михайловская. Бывшей Курской, потом Воронежской, а теперь Белгородской области.

– Как мать звали?

– Анна Михайловна.

– Жена есть?

– Маринка...

– На каком пароходе бежали из бухты Амбарчик?

– На «Мироньче».

– Следующий!

В эту ночь я не мог уснуть. Я молился Богу. Почти все молитвы позабыл и делал это своими словами.

Наконец рассвело. На завтрак как всегда подали жидкую шлюмку, хлеб. Есть не хотелось.

А баландёр у дверей как нарочно весело покрикивает:

– Подходи, наливаю от пуза! Баланда заправлена коммунизмом! Подходи и товарища подводи!

После завтрака какой-то здешний вертухай вызвал по списку десять человек:

– С вещами на выход!

Он вручил им справки об освобождении и повёл. Я чуть не бросился вслед этим людям...

Справки раздавали весь день. Их раздавали всем, но только не мне.

Под вечер в барак привели новую партию. Был с ними и начальник пункта. Я не вытерпел:

– Почему меня не выгоняете?!

– Фамилия?

– Данильченко.

– Говорили о таком. Дело у тебя – сам чёрт голову сломит! Надо внимательно разобраться. Скорее всего поедешь обратно!

Вот оно!..

За семнадцать лагерных лет я ещё никогда так не переживал.

Лёг на нары и перестал дышать. Чувствую, что если захочу, то мне сейчас никакая верёвка не нужна. Без неё отойду на тот свет. Только, наверное, я ещё не всю надежду истратил. Так что, помаявшись, снова вдохнул полной грудью курчавый барачный воздух.

...Прошёл ещё день.

Уже и новую партию освободили. Вокруг меня арестанты один другого радостней.

Думы мои, думы...

Вторая ночь...

Глаза горят без сна, но где его взять? Тем более когда лежишь на голых нарах. И всё-таки далеко за полночь я наконец задремал.

...Тайга, лесоповал. И будто бы мне поручили срезать верхушки сосен, чтобы протянуть электролинию. Нужна большая лестница, а её нет. И тут я вспомнил: я могу летать! Меня этому Лев Максимович Руженцев научил когда-то!

Залез на пень, взмахнул руками и легко поднялся вверх. Сажу на дереве, ловко управляюсь топором с сучьями, а тут внизу какой-то человек удивлённо говорит:

– Что за талант у мужика! Красота! Я бы на его месте полетел куда душа захочет... Ему рукой подать до воли, а он здесь рогами упирается!

Я как спохватился: «А и в самом деле! Возьму да махну отсюда!..»

В общем, бросил топор, крикнул товарищам:

– Привет дорогому начальнику и любимой охране! Не поминайте лихом!

Я полетел, лавируя между деревьями. Подняться выше пока не рисковал: вдруг заметят с вышек и застрелят на лету?

Было солнечно и тепло. Душа радовалась. Наконец, осмотревшись, я взял курс на запад. С высоты напоследок увидел Каму, петлёй охватившую мой последний лагерь...

Леса, горы и долины пролетал я на своём пути. Иногда рядом со мной пристраивались птицы, и я разговаривал с ними про то, как плохо устроили себе жизнь люди на своей родной земле.

Долго ли, коротко ли мчался я в поднебесье, но только наконец впереди показался большой город. А над ним – кремлёвские звёзды. Москва!

Нырнул я вниз и оказался в кабинете самого Сталина. А в руках у меня плоскогубцы и отвёртка: оказывается, я прилетел сюда по вызову отремонтировать секретную аппаратуру, с помощью которой Сталин наблюдает за порядком во всех тюрьмах и лагерях.

– Разрегулировалась! – вздохнул Иосиф Виссарионович.

Он показал на необычный аппарат с маленьким экраном. Внутри видимо-невидимо всяких шестерёнок, ламп и коммутационных проводов. Я поначалу решил, что никогда не разберусь в такой сложной технике. Влип, чего и говорить! Теперь не миновать мне снова штрафного лагеря.

– Ремонтируй! А я пока пойду в гости к Ворошилову, чтобы не мешать тебе, – улыбнулся Сталин.

И тут меня осенило: этот аппарат напоминает устройство бородатой головы, которую когда-то сделал Лев Максимович, чтобы играть с ней в шахматы. Я приободрился, осмелел и огляделся в главном кремлёвском кабинете. Украдкой потрогал сталинский стул.

«Вот трон, с которого правят нами!»

Неожиданно рука почувствовала, что он расшатан, еле держится.

«Так не годится!» – забеспокоился я и взял в углу другой, на замену, но и он оказался не крепче. То же самое было с остальными.

«И куда завхоз смотрит?» – удивился я и занялся ремонтом стульев, отладил сигнализацию.

– Молодец! – вернувшись, похвалил меня Сталин. – И как только ты в этой технике разобрался? Кого только Берия мне ни присылал, никто ничего толком не сообразил. Столько народа за бестолковость пришлось Лаврентию Павловичу расстрелять!

Я рассказал ему про фельдшера Руженцева. Сталин нервно отвернулся, засипел трубкой.

– Вы тоже знали его, Иосиф Виссарионович?

– Лично нет. Честное слово. Это Свердлов мне как-то про него рассказывал. Загадочный был талант, твой Лев Максимович! Его бы ум да на пользу рабоче-крестьянского государства! А он вбил себе в голову, будто обязан спасти царя и его семью. Даже успел какой-то невидимый тоннель подвести к Ипатьевскому дому, да и попал там вместе с Николашкой под пули...

Я проснулся с самым горьким настроением за все мои долгие лагерные годы. И вдруг почувствовал, что под боком нет моего мешка.

Там был хлеб, сахар и селёдина на дорогу.

К пропаже я отнёсся безразлично.

Вскоре в бадье принесли утреннюю баланду. И опять за ней подходили неохотно. Раздатчик был прежний. Он поначалу снова весело зазывал нас, потом стал уговаривать поесть, а под конец, расстроившись, наорал на всех.

И это ему сошло. Всяк из нас боялся лишнее слово сказать. Лица у арестантов были такие, с какими они разве что придут в своё время к апостолу Петру, охраняющему райские врата.

– Кто здесь Данильченко? – вдруг услышал я.  
 Это вахтёр приоткрыл дверь в барак.  
 Страшно мне стало. Я и молчу.  
 – Данильченко! – нажал вахтёр.  
 – Я...  
 – Держи справку об освобождении и вытряхивайся! Чтобы через пять минут духу твоего здесь не было!  
 Не помня себя, расписался я в каком-то журнале на проходной и вышел из лагеря.  
 Вышел без конвоя.  
 Под бушлатом счастливый документ. На этот раз не поддельный.  
 Мороз был сильный, тяжёлый. Но я сорвал шапку-колымку, пал на колени и трижды крепко, с отмахом перекрестился. Трижды ударил арестантским лбом по ледяной дорожке. Только слышу за спиной:  
 – Хватит кланяться! Топай отсюда!  
 Я оглянулся и увидел в воротах двух охранников, щурившихся от бывшего им в лицо какого-то словного нового, живого света колымского солнечного шарика. Они гоготали, глядя на меня. У одного на поводу вертелась овчарка. Я узнал её. Я узнал её по золотым клыкам. Второй такой во всём ГУЛАГе не было. Пасть псины блатарски блистала.  
 Я выругался крутым арестантским матюком и пошёл в контору.  
 Там мне выдали проездной билет и сто сорок рублей.  
 Я послал телеграмму Маринке. Я снова собирался в Воронеж и звал её к себе.

## ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вскоре после освобождения Алексея Павловича какие-то лагерники повесили на чердаке золотозубую овчарку. Ни одну коронку не тронули, ни куска собачьего мяса не отрезали.  
 Только он так и не узнал об этом и год от года всё ещё кричал во сне, пугая Маринку и внуков: золотозубый пёс рвался с яркой хрипотой по его следу...

**P. S.**

26 мая 1956 года ВКВС СССР реабилитировала И. М. Варейкиса и восстановила его в партии.

□

### **Сергей Прокофьевич ПЫЛЕВ**

*родился в 1948 году в городе Коростене Житомирской области.  
 Окончил отделение журналистики филологического факультета  
 Воронежского государственного университета.  
 Служил в Советской армии, работал в различных СМИ Воронежа.  
 С 1983 по 1992 г. – заместитель председателя правления  
 Воронежского отделения Союза писателей СССР.  
 Член Союза писателей СССР (ныне России) с 1984 года.  
 Прозаик.  
 Автор 10 книг рассказов и повестей.*

